

Ирина Наумова — Жизнь под углом 40 градусов

Жизнь под углом 40 градусов. Не было бы счастья....

Ирина Наумова



Ирина Наумова

Жизнь под углом 40 градусов.

Не было бы счастья....

<https://litres.ru/74469223>

Аннотация

— Я собрала его вещи в брезентовый мешок. Хватит. Двадцать пять лет вместе, его измены, вечный запах перегара и потерянное человеческое лицо — мой лимит терпения исчерпан. Я выставила его за порог в грозу. А ночью его трактор улетел в глубокий овраг...

Врач в районной больнице сказал сухо: «Ваш муж выживет, но ходить вряд ли будет. Забираете?» Вся деревня замерла в ожидании: бросит ли гордая учительница Антонина непутёвого изменника, получив долгожданную свободу? Моя мать кричит: «Беги от него!». Бывшая любовница Валеры уже испарилась, узнав диагноз. А я смотрю на этого сломленного, разбитого мужчину и понимаю: я не приму его обратно как мужа. Но я спасу его как человека.

Теперь в нашем доме новые правила. Здесь больше нет места алкоголю, лжи и жалости к себе. Если Валера хочет вернуть моё уважение — ему придется заново научиться ходить. И, самое главное, заново учиться быть Мужчиной.

В тексте вас ждут:

Сильная, гордая героиня — сельская учительница, которая не ломается под ударами судьбы, ценит себя и не прощает предательство «просто так».

Жесткое перерождение героя — мужчине предстоит пройти путь от пьяной деградации и измен сквозь инвалидное кресло к искуплению грехов и возвращению мужского достоинства.

♥# Сложный путь от обиды к прощению — никаких мгновенных «розовых соплей». Герою придется делом доказывать каждую каплю доверия.

Настоящий деревенский быт — живая атмосфера сибирской глубинки, школьные будни, аромат роз в палисаднике и весеннее пробуждение земли.

✕ Без криминала и судов — только чистая психология отношений, глубокая семейная драма и неожиданные жизненные повороты.

☆☆ Однозначный Хэппи-Энд! (Но Валере придется его по-настоящему выстрадать).

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	13
Глава 3(Валерий)	31
Глава 4	51
Глава 5	67
Глава 6(Валерий)	82
Глава 7	99
Глава 8	119
Глава 9	141
Глава 10(Валерий)	155
Глава 11	174
Конец ознакомительного фрагмента.	177

Глава 1

Дождь монотонно шуршал по жестяному отливу окна веранды. Этот звук, тягучий и серый, пробирался под одеяло вместе с сырым утренним холодом. Из пазов разошедшихся старых рам едва заметно сифонило. Я потянула одеяло повыше, до самого подбородка, но согреться уже не получалось.

За стеной, в зале, раздался тяжелый, натужный кашель. Валерий просыпался всегда одинаково — с этого сухого, надсадного хрипа курильщика, который подолгу не мог откашляться после сна. Скрипнули старые пружины дивана.

Я глубоко вздохнула и открыла глаза. На потолке дрожали серые блики от капель, стекающих по оконному стеклу. Время — начало седьмого. Пора вставать. Пора надевать привычную маску собранности, учительский строгий пучок на затылке и идти навстречу очередному дню, который не обещал ничего, кроме глухой, привычной тревоги.

Когда я переступила порог кухни, в нос сразу ударил этот запах. Смесь дешевого табачного дыма, сырой шерсти от невысохшей куртки и тяжелого, кислого перегара. Запах угасания нашего дома. Я подошла к окну и с силой рванула форточку. Холодный октябрьский воздух, пахнувший мокрой березовой листвой и остывающей землей, хлынул внутрь, заставив меня поежиться. Я поправила на плечах старый, еще мамин шерстяной жилет крупной вязки и повернулась к сто-

лу.

На клеенке сиротливо поблескивал грязный стакан. Рядом — сигаретный пепел, небрежно смахнутый прямо на пол, и недоеденная корка хлеба.

Двадцать пять лет. Ровно двадцать пять лет назад мы, молодые и глупые студенты, расписались в районном ЗАГСе. На мне было простое белое платье, сшитое соседкой, а Валера... Валера тогда казался самым надежным человеком на свете. Выпускник сельхозинститута, новоиспеченный агроном с горящими глазами. Когда мы только переехали в это село, председатель нарадоваться на него не мог. Валеру уважали. Его руки пахли полынью, сухим зерном и свежей пашней. А сейчас от него пахло только дизельным топливом и дешевой сивухой.

Деградация не происходит за один день. Она подтачивает человека годами, как ржавчина старый плуг. Сначала закрылся наш колхоз, пришел крупный холдинг во главе с Лукьяном Машковым — человеком жестким, прагматичным, не терпящим чужого мнения. Валера, привыкший работать на совесть, не сработался с новым начальством, начал спорить, доказывать свою правоту. Машков терпеть не стал — быстро указал на дверь. Валера сломался. Сначала пил «с горя», потом устроился на трактор просто ради хоть какой-то копейки, а измены... Измены начались как попытка доказать самому себе, что он еще сильный, что его еще ценят. Хотя бы женщины из местного сельпо.

Из детской послышались тихие шаги. В проеме двери появился Егорка. Ему только исполнилось восемь, он пошел во второй класс. Заспанный, с вихром русых волос на макушке, он тер кулачками серые, совсем мои глаза.

— Мам... — тихо позвал он. — А чай горячий?

— Сейчас согрею, сынок, — я улыбнулась ему, стараясь, чтобы голос звучал как можно мягче. — Иди умывайся.

Я поставила на плиту старый эмалированный чайник. Вслед за Егором из своей комнаты бесшумной тенью выскользнула Лиза. В свои пятнадцать лет дочь превратилась в колючего, замкнутого ежа. На ней была безразмерная черная толстовка, скрывающая фигуру, а глаза она красила так густо и мрачно, словно пыталась отгородиться от всего мира угольным забором. Лиза даже не посмотрела в сторону зала, где продолжал шуршать и кашлять её отец. Для нее его давно не существовало.

— Лизонька, садись завтракать, я сейчас оладьи разогрею, — предложила я.

— Я не голодна, — резко, не глядя на меня, бросила она. Быстро схватила со стола яблоко, сунула в карман рюкзака и направилась к выходу. — В школе поем.

— Лиза, на улице дождь, надень теплую куртку, — крикнула я ей вслед, но ответом мне был лишь тихий стук входной двери.

Я подавила вздох. Душа болела за детей. Лиза росла в атмосфере вечных скандалов и молчаливой ненависти, а Егор-

ка... Егорка всё еще помнил отца хорошим. Помнил, как папа катал его на тракторе в те редкие недели трезвости, которые случались прошлым летом.

На кухню тяжело, шаркая калошами по линолеуму, вошел Валерий. Ему было всего сорок три, но выглядел он на добрый полтинник. Лицо серое, одутловатое, под глазами тяжелые мешки, на переносице отчетливо проступила сетка лопнувших красных капилляров. Он был в растянутых спортивных штанах и грязной майке. Сел на табурет у окна, тяжело оперся локтями о стол и уставился в пространство мутным, невыспавшимся взглядом.

— Тонь... — хрипло позвал он. Голос его напоминал треск сухих веток. — Чай налей. Голова раскалывается.

Я молча налила в кружку заварку, развела кипятком и поставила перед ним. На столе лежали аккуратно сложенные тетради моих пятиклассников — сегодня предстояло проверять диктанты. Мне хотелось тишины. Хотелось просто уйти в школу, в свой чистый, пахнущий мелом и бумагой класс, где всё было понятно и подчинялось правилам.

Валерий шумно отхлебнул горячий чай, поморщился.

— Слышь, Тонь... Мне деньги нужны. Тысячи две.

Я даже не повернулась к нему. Продолжала резать сыр для бутерброда Егорке.

— Денег нет, Валера. До зарплаты еще неделя. Те копейки, что остались, отложены на школьные обеды Егору.

— Да ты не понимаешь! — он раздраженно хлопнул ла-

донью по столу, отчего чай всплеснулся из кружки. — На тракторе ремень генератора полетел. Если сегодня не поменяю, Машков меня с потрохами съест. Оштрафует, на хрен, за простой техники!

Я медленно повернула к нему голову. За столько лет я научилась безошибочно отличать его ложь от правды. Когда Валерий врал по делу, он никогда не смотрел в глаза, а его пальцы начинали судорожно теребить край клеенки. Вот как сейчас. Ремень генератора... На прошлой неделе он просил «на масло», до этого — «на прокладки».

— На запчасти деньги выделяет контора, Валера, — спокойно, без тени эмоций сказала я. — Машков за каждую гайку отчет требует. Так что не ври мне. Опять к Любке в сельпо собрался? Или к мужикам в гаражи?

Лицо Валерия мгновенно налилось багровой краской. В его глазах вспыхнула та самая глупая, злая обида, которая всегда появлялась, когда его ловили на горячем.

— Да пошла ты со своей школой и своими поучениями! — рывкнул он, поднимаясь с табурета. — Строишь из себя святую! Училка выискалась! Да если бы не я, мы бы вообще с голоду подошли в этой дыре!

Он схватил со спинки стула свою грязную рабочую куртку, пахнущую соляркой, и, громко топая грязными калошами, выскочил в сени. Входная дверь грохнула так, что задрожали стекла в серванте. Егорка, который в это время чистил

зубы в ванной, испуганно замер на пороге кухни, сжимая в руке зубную щетку.

— Мама... Папа опять ругается? — тихо спросил он.

Я подошла к сыну, присела перед ним на корточки и поправила воротничок его рубашки.

— Всё хорошо, Егорушка. Папа просто торопится на работу. Давай собирать портфель, а то опоздаем.

Через полчаса я проводила Егора до школьного автобуса, который останавливался на перекрестке у старой водонапорной башни. Проводила взглядом желтый пазик, увозящий моего мальчика в безопасный, понятный мир уроков и перемен, и пошла обратно к дому. До моих собственных уроков оставался еще час.

Дома было тихо. Та особенная, гнетущая тишина, которая оседает в комнатах после семейных бурь. Я вернулась в сени, чтобы повесить свою куртку, и мой взгляд упал на вешалку.

На деревянном рожке висела рабочая куртка Валерия. Видимо, уходя в бешенстве, он перепутал её со старой ветровкой, которая висела рядом. С поношенного брезента на пол медленно капала грязная вода, образуя на старом линолеуме темную лужицу.

Я вздохнула. Нужно вытряхнуть из карманов его вечные железки, болты и сигаретные пачки, чтобы повесить куртку сушиться поближе к печке. Иначе к вечеру она превратится в холодный, пахнувший прелью панцирь.

Я сунула руку в правый карман. Пальцы нащупали горсть

подсолнечной шелухи, липкую конфетную обертку и грязную гайку. Я выгребла этот мусор и выбросила в ведро.

Затем опустила руку в левый карман. Там было пусто, если не считать плотного, скомканного клочка бумаги. Я вытащила его, собираясь выбросить, но взгляд зацепился за фиолетовый оттиск кассового аппарата.

Это был чек из нашего сельского магазина «Улыбка». Дата вчерашняя, время — девять вечера. Валера сказал мне тогда, что задержался на дальнем поле из-за поломки плуга.

Я медленно расправила влажную, пахнущую табаком бумагу. В чеке значилось:

Водка «Сибирская», 0.5 л — 2 шт.

Сигареты «Ява» — 1 пачка.

Плавленный сырок — 2 шт.

И последняя строчка:

Заколка для волос пластиковая «Бабочка» — 1 шт.

Сердце пропустило удар, а затем забилось часто-часто, отдавая глухим стуком в висках. Я медленно опустила руку обратно в карман куртки, просунула пальцы в самый угол, за подкладку, которая давно порвалась.

Там, в темноте брезентового нутра, пальцы нащупали что-то твердое, пластиковое, с острыми краями.

Я медленно потянула руку назад. На моей ладони лежала дешевая, кричаще-розовая заколка-краб в виде бабочки, усыпанная мелкими стеклянными стразами. Кое-где стразы уже отвалились, обнажив серый клей.

Эта заколка не могла принадлежать мне. Я уже много лет носила только строгие шпильки и классические черепаховые гребни. Она не могла принадлежать Лизавете — дочь презирала розовый цвет, признавая исключительно черный.

Эта копеечная бабочка пахла чужими, резкими и приторно-сладкими духами с нотками дешевой земляники. Точно такими же духами, какими всегда пахло в магазине у Любки.

Я стояла в темных сенях своего дома, сжимая в одной руке мокрый чек, а в другой — розовую пластмассовую бабочку. Снаружи, за стенами, всё так же монотонно и равнодушно шуршал холодный осенний дождь. Колеса трактора Валерия где-то далеко вязли в липкой деревенской грязи, а моя жизнь, казавшаяся такой привычной в своем унынии, в одну секунду разлетелась на тысячи мелких, острых осколков.

Глава 2

Дорога к школе тянулась через пустырь, поросший пожухлым бурьяном. Дождь к

восьми утра приутих, превратившись в липкую, висящую в воздухе водяную

взвесь. Глина под сапогами чвакала, налипая на подошвы тяжелыми комьями. Я

шла, глядя себе под ноги, но перед глазами всё равно стояла эта

ядовито-розовая пластиковая бабочка. Она лежала теперь во

внутреннем кармашке моей сумки, прямо рядом с паспортом и ключами, и

мне казалось, что её дешёвые стеклянные стразы прожигают кожаную перегородку

насквозь.

Двухэтажное кирпичное здание сельской школы встрети-

ло меня привычной суетой. Из

открытых дверей раздевалки несло мокрой шерстью, хлоркой и дешевым чаем из

столовой. Малышня с визгом носилась по коридору, расплескивая лужицы от

промокнутой обуви, а дежурные старшеклассники с унылым видом прислонялись к

выкрашенным зеленой масляной краской стенам.

Я зашла в свой класс за пять минут до звонка. Пятый «Б» уже гудел, как

потревоженный улей. На доске красовалась чья-то корявая надпись мелом,

на задних партах летали бумажные самолетики.

— Здравствуйте, садитесь, — мой голос прозвучал суше и строже, чем обычно. Я

положила сумку на стол, и этот жест отозвался во мне глухим толчком. —

Открываем тетради. Записываем число. Сегодня у нас ра-

бота над ошибками по

теме «Правописание безударных гласных».

Я повернулась к доске, взяла кусок сухого, крошащегося мела. Пальцы слегка

подрагивали. Чтобы скрыть это, я с силой прижала мел к шероховатой

поверхности. «Октябрь. Классная работа».

За спиной зашуршали страницы. Я диктовала правила, объясняла орфограммы,

вызывала к доске заспанных пятиклассников, но какая-то часть моего

разума оставалась безучастной к происходящему. Я смотрела на аккуратные

детские головы, на Петьку Зубова, который увлеченноковырял ластиком парту, и

думала: знают ли их матери? Наверняка знают. В нашем селе невозможно что-то

скрыть. Любое событие — от покупки нового забора до

пьяной драки —

становится общим достоянием в тот же вечер. И то, что Валерка Елисеев

снова «загудел», и то, что у Любки в сельпо появились новые сережки и

заколки... Все они смотрят на меня, сочувствуют в лицо, а за спиной

жалостливо цокают языками. «Ох, Тонька, Тонька, такая баба умная,

учительница, а мужика удержать не может».

Звонок на большую перемену прозвучал как избавление. Я собрала тетради в стопку,

велела дежурным проветрить класс и направилась в учительскую.

Там стоял густой аромат кофе из пакетиков и дешевого печенья. За длинным столом

сидели коллеги. Вера Михайловна, учительница математики — грузная женщина с

уставшими глазами, шумно размешивала сахар в кружке. Рядом завуч, Ольга

Петровна, что-то быстро писала в журнале, то и дело поправляя очки на

переносице.

— Тонь, ты слышала? — Вера Михайловна подняла на меня глаза, едва я переступила

порог. — Машков на мехдворе вчера такой разнос устроил. Говорят, технику к зиме

подготовить не могут. Твой-то Валера на работу сегодня вышел?

В учительской на секунду повисла едва заметная, тягучая пауза. Даже Ольга

Петровна перестала скрежетать ручкой по бумаге. Они ждали. Ждали, что я

скажу.

— Вышел, — спокойно ответила я, проходя к своему шкафчику. — С утра ушел на

смену. У них там ремонт.

— Ну и слава богу, — вздохнула Вера Михайловна, но в её голосе сквозила эта

невыносимая, липкая жалость, от которой мне хотелось закричать. — А то

Любка из сельпо сегодня хвасталась, что Валерка ей вчера с ремонтом

проводки помогал. Допоздна, говорит, копался.

Я почувствовала, как пальцы, сжимающие край папки с планами уроков, побелели.

Земляника. Розовая бабочка. «Помогал с проводкой».

— Валера хороший электрик, — мой голос был ровным, без единой лишней интонации.

Этому самообладанию я училась годами. — Помог — и хорошо. Девочки, у кого есть

свободный заправочный лист для принтера?

Ольга Петровна быстро зашуршала бумагами, переводя тему, но атмосфера в

учительской осталась отравленной. Они знали. Всё они знали.

Дверь учительской приоткрылась без стука. На пороге появилась высокая, сухопарая

фигура моей матери, Вассы Львовой. В свои шестьдесят семь лет она сохранила ту

безупречную, почти военную выправку, которой всегда гордилась наша семья. Её

седые волосы были аккуратно уложены в тугой узел под шерстяным платком, на

плечах — добротное темно-синее пальто, которое она носила уже лет десять, но

содержала в идеальной чистоте. В руках мать держала небольшую плетеную корзину,

прикрытую чистым полотенцем.

— Здравствуйте, коллеги, — громко, властно произнесла она, проходя внутрь. Мать

когда-то работала главным бухгалтером в сельсовете (она всю интеллигенцию называла коллегами) и её до сих пор побаивались. Она повернулась ко мне, окинув критическим взглядом мою

простую юбку и жилет. — Антонина, я к тебе. Кое-что занесла.

— Мама? Что случилось? — я удивленно поднялась навстречу.

Мать водрузила корзину прямо на край общего стола, бесцеремонно отодвинув чьи-то

тетради. Из-под полотенца пахнуло сырой землей и свежей антоновкой.

— Да вот, яблок тебе принесла. Да картошки ведро у крыльца оставила, Егорке

передашь, пусть ест, совсем худой стал, — она говорила громко, отчетливо,

так, чтобы слышала вся учительская. Но в её глазах горел тот самый злой,

колючий огонек, который не предвещал ничего хорошего. — Выйдем на минуту,

Тоня. Разговор есть.

Мы вышли в пустой рекреационный коридор у окна. Дождь снаружи снова припустил,

крупные капли с глухим стуком бились о стекло.

— Мама, зачем ты пришла в школу? — тихо, стараясь не привлекать внимания

пробегающих мимо третьеклассников, спросила я. — У меня скоро урок.

— А затем пришла, что у меня сердце не на месте! — мать резко повернулась ко

мне, её тонкие губы сжались в ниточку. — До каких пор ты этот позор терпеть

будешь, Антонина? Вся деревня пальцем тычет! Твой муж вчера у этой шалавы

магазинной до полуночи околачивался, из окна видать было! Спился совсем, на

работу через пень-колоду ходит! Долго ты еще этого ирода на своей шее держать

будешь? Пожалей детей!

Каждое её слово падало мне на голову как тяжелый булыжник. Я прижала руки к

груди, чувствуя, как под трикотажем жилета бешено ко-

лотится сердце.

— Мама, тише, пожалуйста... — взмолилась я. — Вокруг люди. Мы дома поговорим.

— Нечего мне тише говорить! — Васса Львова упрямо вскинула подбородок. — Пусть

все слышат! Семья Львовых никогда в грязи не валялась. Твой отец, покойный Лев

Николаевич, всю жизнь человеком был, его в районе уважали! А ты... Вышла за

этого тракториста безродного, всю жизнь ему отдала, а он об тебя ноги

вытирает! Выгони ты его, господи! Вещи собери да за порог выставь! Не

пропадешь одна с девками да с малым, я помогу!

— Мама, это моя жизнь, — я почувствовала, как к горлу подкатывает горячий,

горький ком. — Мы сами разберемся. Лиза и Егор... Им нужен отец.

— Отец? — мать зло рассмеялась, и этот смех порезал меня без ножа. — Какой он им

отец? Чему он их научит? Егорка вон дичится всех, а Лизка твоя... Ты вообще

знаешь, где твоя дочь шляется?

Я замерла. Внутри всё похолодело.

— Что ты имеешь в виду?

— А то и имею! — мать наклонилась ко мне ближе, от нее пахло сушеной полынью и

мятными каплями. — Вчера соседка моя, Нинка, видела её за старыми складами у

элеватора. С ПТУшниками местными стояла, теми, что у Машкова на подработках.

Курила! Прямо в лицо им смеялась! Дочь учительницы, отличница бывшая, по углам

с отребьем деревенским околачивается! Ты за чужими детьми в школе следишь,

Антонина, а свою собственную упустила! Вся в отца пошла, такая же порода

непутевая!

Слова матери звенели в моих ушах, заглушая школьный звонок, возвестивший о

начале следующего урока. Голова закружилась. Лиза...
Моя тихая, закрытая

Лиза, которая еще год назад запоем читала книги и мечтала стать врачом.

— Мне пора на урок, мама, — тихо сказала я, отступая на шаг. — Спасибо за

яблоки. Я всё поняла.

— Смотри мне, Тоня, — мать строго погрозила мне сухим, узловатым пальцем. —

Доиграешься ты со своей жалостью. Жизнь одну бог дает, под углом сорок

градусов её не проживешь — свалишься.

Она развернулась и пошла к выходу, стуча каблуками твердо и уверенно. А я

осталась стоять у окна, прижавшись лбом к холодному, запотевшему стеклу.

Следующий час прошел как в тумане. Я механически вела урок в седьмом классе,

что-то говорила о деепричастных оборотах, писала на доске предложения, но

перед глазами стояло лицо Лизы. Черный капюшон, злой, колющий взгляд. «Вся в

отца пошла...» Нет, я не должна допустить этого. Я не отдам детей этой трясине.

Едва прозвенел звонок с последнего урока, я не стала проверять тетради. Сложила

их в сумку, накинула куртку и вышла на задний двор школы. Там, за старым

спортивным залом, среди заброшенных теплиц и зарослей дикого малинника,

обычно собирались те, кто хотел спрятаться от глаз учителей.

Сырой ветер сразу бросил мне в лицо пригоршню мелких, холодных брызг. Я обогнула

угол спортзала. Под навесом старой котельной стояли трое. Два парня постарше, в

грязных спортивных куртках, о чем-то громко спорили, сплевывая на мокрый

асфальт. А рядом с ними, прислонившись к кирпичной стене, стояла Лиза.

Её капюшон был накинут на голову, из-под него выбивались влажные пряди темных

волос. В пальцах, зажатых в кулак, дымилась тонкая сигарета. Она слушала, как

один из парней — рослый, скуластый детина с наглым лицом — что-то увлеченно ей

рассказывает, и криво, горько улыбалась.
— Лиза! — мой голос прозвучал хлестко, как выстрел в сырой тишине школьного

двора.

Вся компания мгновенно замерла. Парни медленно обернулись, окинув меня ленивыми,

оценивающими взглядами. Один из них сплюнул под ноги и ухмыльнулся. Лиза

вздрагнула, её лицо на секунду побледнело, но тут же при-

няло то самое

упрямое, злое выражение, которое я так боялась увидеть. Она не выбросила

сигарету. Напротив, демонстративно затянулась и выпустила струю сизого дыма

прямо в холодный воздух.

— Антонина Львовна... — протянул скуластый парень, шутовски кланяясь. — А мы тут

это... уроки жизни проходим. Присоединяйтесь.

— Рот закрой, Кольцов, — оборвала я его, делая шаг вперед. Сила моего

учительского голоса заставила его отступить на шаг, но наглая ухмылка

не сошла с его лица. — Быстро марш отсюда. Оба. Пока я директора не вызвала.

Парни переглянулись. Скуластый пожал плечами, небрежно хлопнул Лизу по плечу:

— Ладно, Лизка, бывай. Училка твоя пришла, сейчас мораль читать будет.

Встретимся у клуба.

Они не торопясь пошли прочь, громко смеясь и переговариваясь. Мы остались

вдвоем. Ветер трепал подол моего пальто, дождь стекал по моим щекам,

смешиваясь со слезами, которые я изо всех сил пыталась удержать.

— Лиза... — тихо, с болью сказала я, делая шаг к ней. — Что ты делаешь? Зачем?

Ты же умница, ты ведь...

Дочь резко повернулась ко мне. Её глаза, густо подведенные черным, горели такой

яростной, отчаянной ненавистью, что я невольно остановилась. Она бросила окурок

прямо в лужу у моих ног.

— Что я делаю? — её голос сорвался на крик, тонкий и болезненный. — Живу как

хочу! Надоело! Надоело твоё вранье, твоя правильная школа, твои тетрадки!

Учишь всех вокруг, правильная такая! А дома что?

— Лиза, замолчи... — прошептала я, чувствуя, как земля уходит из-под ног.

— Не замолчу! — Лиза сделала шаг ко мне, её лицо искалось от слез, которые она

тоже пыталась скрыть за злостью. — Думаешь, я не знаю? Думаешь, я слепая? Весь

класс ржет за моей спиной, потому что мой отец вчера опять валялся у магазина,

а сегодня Любка из сельпо его бабами обзывает! А ты терпишь! Стираешь его

шмотки, жрать ему готовишь! Да ты себя не уважаешь!

Она задохнулась от крика, смахнула слезу с щеки грязным рукавом толстовки и

бросила мне в лицо слова, которые навсегда выжгли во мне остатки прежней

жизни:

— Сначала со своим алкашом разберись, а потом меня воспитывай! Кого ты вырастить

хочешь? Такую же терпилу, как ты сама? Не дожدهшься!

Она рванулась мимо меня, задев плечом. Я осталась стоять под навесом старой

котельной. Холодные капли дождя падали на мое лицо, ветер шуршал пожухлой

травой у забора, а в сумочке на моем плече, прямо рядом с планами уроков,

безмолвно и ядовито блестела розовая пластиковая бабочка. Наказание

началось, и его первой жертвой стала я сама.

Глава 3(Валерий)

(от лица Валерия)

Кабина старого «Беларуса» тряслась мелкой, зудящей дрожью, от которой к полудню

начинали ныть десны и суставы. Запах перегоревшей солянки, въевшийся в

брезентовую обивку сиденья, смешивался с ароматом сырой, прелой резины

и моего собственного немытого тела. Я тяжело навалился грудью на холодный

пластик руля, глядя сквозь заляпанное грязью лобовое стекло. Дворник с

противным скрипом размазывал по стеклу осеннюю морось, оставляя мутные

полукруглые разводы.

Голова раскалывалась. В висках стучало ровно, ритмично, словно внутри черепной

коробки кто-то завел невидимый пускач. Во рту стоял мерзкий вкус горечи и

вчерашнего табака.

Перед глазами всё еще стояло утреннее лицо Антонины. Её аккуратно зачесанные

волосы, эта её вечная шерстяная кофта, прямая спина и глаза... Серые,

холодные, как этот октябрьский дождь. Ни крика, ни истерики. Только этот

ровный, учительский тон: «Денег нет, Валера». Как же я ненавидел её в такие

моменты. Ненавидел за эту безупречность, за то, что она всегда права, за

то, что тащит всё на себе и даже не дает мне повода сорваться на нее

по-настоящему. Нормальная баба давно бы уже запустила мне в голову

тарелкой, орала бы на всю улицу, чтобы соседи слышали.

А Тоня... Тоня просто

смотрела на меня так, будто я пустое место. Грязное пятно на её чистом

линолеуме.

Я передернул рычаг передач, с силой вгоняя его в паз. Трактор дернулся, взревел

и медленно пополз по раскисшей колее вдоль кромки поля.

Справа от меня тянулась зябь — вспаханная на зиму земля. Черная, жирная,

блестящая от влаги. Моя земля. Когда-то я знал здесь каждый гектар. Я

помнил, на каком участке нужно добавить азота, где почва закисляется и просит

известки, а где лучше пустить пар. Пять лет назад я стоял на краю этого самого

поля не в промасленной фуфайке, а в чистой куртке. Я был главным агрономом.

Меня звали Валерием Сергеевичем. Механизаторы здоровались за руку,

председатель района жал мне ладонь на планерках. Я брал горсть этой

земли, растирал её между пальцами, подносил к лицу и по одному только запаху

мог сказать, готова ли она к посеву.

А потом пришел Лукьян Машков.

Вспомнив это имя, я непроизвольно сжал челюсти так, что скрипнули зубы.

Московский ставленник, директор нового агрохолдинга, который скупил наш

район на корню. Лощеный, спокойный, с ледяным взглядом прагматика. Он привез с

собой городские технологии, планшеты, спутниковый мониторинг и молодых

сопляков-менеджеров в чистых ботинках, которые видели пшеницу только в

виде булочек в пекарне.

Мы сцепились в первый же месяц. Я доказывал, что их хваленые импортные гербициды

сожгут наши почвы, что у нас другой климат, другие грунтовые воды. Я орал на

планерке, тряс старыми картами севооборота. А Машков просто смотрел на меня

поверх своих дорогих очков. Спокойно так смотрел, как на надоедливую муху. А

потом сказал одну фразу: «Валерий Сергеевич, ваше время ушло. Вы

неэффективны».

И всё. Подписал приказ. Уволил с волчьим билетом по статье за «нарушение

корпоративной этики».

Мне бы уехать тогда. Забрать Тоню, Лизку, маленького Егорку и рвануть в соседнюю

область, начать всё заново. Но гордость не позволила. Как это я, лучший

специалист района, побегу с поджатым хвостом? Я думал, они без меня

загнутся, приползут на коленях. А они не приползли. Холдинг работал, земля

рожала, Машков богател. А я... Я помыкался пару месяцев без работы, глуша

уязвленное самолюбие водкой на кухне, а потом пошел к бригадиру мехдвора

и попросился на трактор. Просто чтобы не сдохнуть от безделья и безденежья.

Сначала я пил только по выходным. Потом стал брать чешку с собой в кабину —

«для сугрева». А потом грань стерлась. Водка стала единственным местом, где я

всё ещё чувствовал себя сильным, умным и правым. В пьяном угаре я мысленно

громил Машкова, управлял миллионными бюджетами и был хозяином своей жизни.

Но утро всегда возвращало меня в холодную постель, к похмелью и презрительному

молчанию Тони.

Я с силой ударил ладонью по рулю. Трактор вильнул, едва не съехав задним колесом

в глубокий кювет.

Нужно выпить. Прямо сейчас, иначе у меня отнимутся руки от этой внутренней

дрожи. Денег, конечно, не было, но у меня был кредит доверия в

одном-единственном месте, где меня всё еще считали мужиком.

Я выкрутил руль, направляя тяжелую махину к центру села. Грязь шматками летела

из-под огромных задних колес, шлепая по асфальту, когда я выехал на

центральную улицу. Заглушил мотор прямо у крыльца продуктового

магазина с издевательски яркой вывеской «Улыбка».

Дверной колокольчик звякнул, возвещая о моем появлении. Внутри пахло дешевой

копченой колбасой, мылом и прокисшим пивом. За прилавком, опершись на локти

и листая какой-то цветастый журнал, стояла Любка.

Ей было чуть за тридцать. Пережатые гидроперитом белые кудри, густо

накрашенные синими тенями веки и яркая, почти вызывающая розовая

помада. На ней был тесный бордовый халат, который слишком откровенно

обтягивал полную, пышную грудь. Увидев меня, она мгновенно отложила

журнал, и её лицо расплылось в широкой, плотоядной улыбке.

— Ой, какие люди! Валерочка пожаловал! — её голос был грубоватым, с хрипотцой от

сигарет, но в нем звучало именно то, чего мне так не хва-

тало дома. Восхищение.

— Здорово, Любаня, — я напустил на себя небрежный, хозяйский вид, подходя к

прилавку и опираясь на него грязными ладонями. — Как торговля?

— Да какая тут торговля, скукота одна. Тебя вот жду, — она игриво подмигнула и,

наклонившись чуть вперед, чтобы я мог лучше рассмотреть вырез её халата,

накрыла мою грязную руку своей пухлой ладонью с облупившимся красным

лаком. От нее пахло какой-то приторной, синтетической земляникой.

Любил ли я её? Да ни капли. Мне было плевать на её дешёвый вид, на её глупые

разговоры. Но с ней я чувствовал себя альфа-самцом. Она заглядывала мне в

рот, смеялась над моими плоскими шутками, восхищалась тем, какой я «могучий».

Рядом с Любкой мне не нужно было быть умным, не нужно было доказывать свою

состоятельность. Достаточно было просто быть мужиком в штанах. Эта

интрижка была моей извращенной формой мести Тоне за её недостижимую

моральную чистоту.

— Люб, сообрази мне «Сибирскую» и пачку «Явы», — я понизил голос, погладив её

пальцы в ответ. — Запиши в тетрадку. С получки отдам. Машков обещал премию

выписать на днях.

Я врал, и она это знала. Никаких премий мне не светило. Но Любка лишь кокетливо

вздохнула:

— Ох, Валерка, разоришь ты меня. Заведующая ругается уже за твои долги. Но ради

тебя, так и быть...

Она потянулась к полке за спиной, демонстрируя тугую

спину, и поставила передо

мною заветную бутылку с синей этикеткой и пачку сигарет.

— Зайдешь вечером? — Любка стрельнула глазками, при-
двигая ко мне товар. — У меня

сегодня смена до восьми. Замки на складе заедают, помо-
жешь... мужской силой?

— Посмотрим на мое расписание, — я усмехнулся, пряча
бутылку во внутренний

карман фуфайки. Сигареты полетели в боковой.

В голове мелькнула мысль о закладке, которую я купил ей
вчера на последние

выгребенные из домашней копилки копейки. Я сунул её
в карман, а потом...

потом, кажется, забыл вытащить. Или вытащил? Черт с
ним. Если Тоня её найдет

— пусть. Может, хоть это пробьет её ледяную броню. Мо-
жет, она наконец-то

закричит на меня, ударит, заплачет. Я жаждал от жены лю-

бой живой реакции,

лишь бы не видеть больше этого презрительного равнодушия.

— Бывай, красавица, — я подмигнул Любке и вышел на улицу.

Ветер усилился, швыряя в лицо мелкую водяную пыль. Я забрался обратно в ледяную

кабину трактора. Бутылка жгла грудь через слои одежды, призывая сорвать

алюминиевую пробку прямо сейчас. Но здесь, в центре села, было слишком

людно.

Я завел мотор и погнал трактор на мехдвор. Это была окраина, старые

полуразрушенные ангары еще колхозных времен, которые холдинг

использовал как отстойник для списанной техники. Загнав «Беларуса» за

ржавый остов старой сеялки, я заглушил двигатель. Во-

круг не было ни души.

Только бесконечный шум дождя, барабанищего по жестяной крыше.

Пальцы привычно, до автоматизма быстро свернули пробку. Я даже не стал искать

стакан. Припал губами к горлышку и сделал три больших, жадных глотка.

Водка обожгла горло, огненным комом упала в желудок и тут же начала расходиться

по венам спасительным, мягким теплом. Я откинул голову на спинку сиденья и

закрыл глаза, шумно выдохнув. Дрожь в руках начала утихать. Мысли, до этого

путавшиеся и жалившие, как осы, стали плавными и тягучими.

Вот теперь хорошо. Теперь я снова в норме. Теперь я могу думать о том, как

однажды всё изменится. Как я приду к Машкову, брошу ему на стол бумаги и

докажу, что он профан. А Тоня... Тоня посмотрит на меня с уважением, как раньше.

Лиза перестанет прятать глаза, а Егорка с гордостью скажет пацанам во дворе:

«Это мой батя».

Иллюзия величия, подпитываемая алкоголем, рисовала в голове красивые картинки. Я

потянулся за сигаретой, чиркнул зажигалкой. Сизый дым заполнил тесную кабину,

смешиваясь с запахом спиртного.

Сквозь шум дождя слышался звук мотора. Я приоткрыл глаза и стер рукавом

конденсат с бокового стекла.

На площадку перед ангарами плавно, не обращая внимания на ямы и грязь, въехал

черный, отполированный до блеска внедорожник «Тойота». Машина остановилась в

тридцати метрах от моего укрытия. Дверь открылась, и из салона вышел Лукьян

Машков. На нем была дорогая непромокаемая куртка, чистые ботинки, которые

словно отталкивали деревенскую грязь. Следом за ним с пассажирского сиденья

выскочил молодой паренек — новый инженер-механик, которого прислали из города

пару месяцев назад.

Я инстинктивно вжался в сиденье, приоткрыв дверь кабины на пару сантиметров,

чтобы слышать, о чем они говорят. Водка внутри всё еще грела, но сердце

предательски застучало быстрее.

Машков закурил, оглядывая ржавую технику хозяйским, цепким взглядом.

— Что с пятым участком, Денис? — голос директора звучал четко, разносясь над

пустой площадкой. — Почему вспашка отстаёт на двое суток по графику?

Молодой инженер суетливо достал из-под куртки планшет

в защитном чехле.

— Там Елисеев стоит, Лукьян Романович. У него на старом «Беларусе» ремень

генератора опять слетел, масло гонит изо всех щелей. Я ему еще вчера

говорил заявку на склад подать, а он...

Инженер замялся, бросив неуверенный взгляд на Машкова.

— Договаривай, — коротко бросил директор.

— Пьяный он был вчера, Лукьян Романович. Едва на ногах стоял. Какая там заявка.

С утра сегодня тоже перегаром за версту несло. Техника простаивает.

Я почувствовал, как кровь прилила к лицу. Рука сама сжалась в кулак. Ах ты

щенок. Стукач городской. Да я этот трактор из мертвого железа своими руками

собирал, пока ты еще в школе учился! Я хотел распахнуть дверь, выпрыгнуть из

кабины и набить этому Денису его гладкую, сытую морду

прямо на глазах у

начальства. Показать им, кто тут настоящий мужик.

Но слова, которые произнес Машков, заставили меня прирасти к сиденью.

Директор стряхнул пепел в лужу, даже не изменившись в лице.

— Завтра утром выпишешь Елисееву штраф за простой техники в размере двадцати

процентов от оклада, — ровно, без эмоций произнес Машков. — А к весне готовь

документы на полное списание.

— Трактора? — уточнил инженер, делая пометку в планшете.

— И трактора, и самого Елисеева, — жестко отрезал Лукьян. — Я терпел его выходки

только из уважения к его прошлым заслугам перед районом. Но всё, лимит исчерпан.

Он окончательно спился, превратился в животное. Хлам мне на предприятии не

нужен. В марте пригоним два новых «Джона Дира», поса-

дишь на них трезвых

ребят. А этого... пусть жена-учительница воспитывает, если ей охота. Всё,

поехали, у меня совещание в районе.

Дверь внедорожника хлопнула. Машина мягко развернулась и исчезла за воротами

мехдвора, оставив после себя лишь запах дорогого выхлопа и тишину,

прерываемую только стуком дождя.

Я сидел в кабине, не в силах пошевелиться. Бутылка «Сибирской» выскользнула из

ослабевших пальцев, глухо стукнулась о резиновый коврик и перекатилась в угол.

Водка забулькала, выливаясь на грязный пол, смешиваясь с мазутом и песком.

«Хлам».

Это слово не просто ударило меня. Оно вошло под ребра тупым, ржавым ножом и

провернулось там, выпуская наружу все мои жалкие ил-

люзии. Я думал, что веду

с ним войну. Думал, что я всё еще представляю для них угрозу, что они боятся

моего авторитета. А я для них был просто куском старого, списанного железа,

который терпят из жалости. «Пусть жена воспитывает». Внезапная, ослепительная ярость захлестнула меня с головой. Ярость не на

Машкова, не на этого сопляка-инженера и даже не на Тоню. Ярость на самого

себя, на свою беспомощность, на то, что я сам позволил им вытирать о себя ноги.

Я с ревом ударил кулаками по рулю. Один раз, второй, третий, пока костяшки не

содрались в кровь о жесткий пластик. Боль отрезвляла, но не приносила

облегчения. В груди kloкотало что-то темное, страшное, требующее выхода.

Я не хлам. Я докажу им всем. Я докажу Машкову, докажу Тоне, что меня рано

списывать на свалку!

Я смахнул с лица выступивший то ли пот, то ли слезы бес-
силия, и схватился за

ключ зажигания. Двигатель трактора взревел, выплевывая
в осеннее небо облако

черного, едкого дыма. Я не знал, куда поеду и что буду
делать, но оставаться

здесь, в этой луже собственного позора, я больше не мог.
Трактор рванул с

места, сминая тяжелыми колесами ржавые железки на
грязном асфальте. Впереди

был только дождь и глухая, беспросветная злоба.

Глава 4

Сумерки наползали на село быстро, удушливой серой волной. К пяти часам вечера

октябрьское небо окончательно потемнело, сливаясь с грязными лужами на

дорогах. Дождь то утихал до мелкой измороси, то снова принимался стучать

по зонтам редких прохожих.

Я шла из школы, чувствуя, как плечи ломит от усталости. Тетради в тяжелой

кожаной сумке оттягивали руку, но еще тяжелее был разговор с Лизой. Её

крик до сих пор звенел у меня в ушах. «Кого ты вырастить хочешь? Таковую же

терпили, как ты сама?» Каждое слово дочери, будто ржавый гвоздь, царапало

изнутри. Она была права. Мое бесконечное терпение, ко-

торое я считала

благодетелью и семейным долгом, на самом деле медленно убивало нас

всех.

Возле автобусной остановки ютился пяточок местного мини-рынка. Две деревянные

лавки под кусками грязной полиэтиленовой пленки. Несколько местных старушек в

пуховых платках продавали нехитрый осенний товар: мелкую сморщенную антоновку,

банки с квашеной капустой и пучки сушеного укропа. Пахло сыростью, гнилыми

капустными листьями и мокрым картоном.

— Тонька, возьми чесноку-то зимнего, — негромко окликнула меня баба Маша,

кутаясь в поношенную куртку. — Хороший, крепкий. Мужу твоему в борщ

самое то.

Я качнула головой, стараясь выдавить вежливую улыбку:
— Спасибо, баб Маш, дома есть еще.

«Мужуку твоему...» Им всем казалось, что у меня обычная жизнь. Обычный пьющий муж,

обычные семейные неурядицы, которые нужно просто перетерпеть. В деревне терпение

возведено в культ. Если терпишь — значит, хорошая баба, правильная. А если

подняла голову — эгоистка, семью разрушила.

Мне нужно было купить хлеба. Хлебный фургон привозил свежую выпечку в «Улыбку» к

четырем часам, и обычно к вечеру полки уже пустели. Я свернула к магазину. Синяя

краска на деревянном крыльце облупилась, обнажая серое, изъеденное сыростью

дерево. На секунду я замерла у двери. Внутри меня всё сопротивлялось этому

визиту, словно предчувствуя, что за этой дверью меня ждет то, к чему я еще не

готова. Но я сжала ручку и толкнула дверь. Колокольчик над головой звякнул

тонко и дребезжаще.

В магазине было тепло и душно. Пахло свежим серым хлебом, дешевой лимонной

карамелью и застарелым пивным перегаром.

Они стояли у самого прилавка.

Валерий опирался локтями на витрину, чуть подавшись вперед. На нем была старая

брезентовая куртка, на лице блуждала легкая, хмельная ухмылка. Он что-то

негромко рассказывал Любке, активно жестикулируя промасленной рукой. Глаза

его блестели тем самым живым, азартным блеском, которого я не видела дома уже

много лет. Он смеялся. Искренне, весело, скаля неровные зубы. Рядом с ним на

прилавке стояла распечатанная пачка «Явы».

Любка заливисто, кокетливо хохотала, запрокинув голову с пергидрольными кудрями.

Её пухлая рука в бордовом рукаве халата лежала на плече моего мужа. На секунду

она шутливо шлепнула его по рукаву, и Валера перехватил её пальцы, прижав к

своей груди. В этот момент он выглядел молодым, уверенным в себе мужчиной. Не

кашляющим, вечно злым трактористом, который вымогал у меня две тысячи утром, а

тем Валеркой, который когда-то умел красиво ухаживать. Внутри меня не вспыхнуло пламя. Не поднялась та горячая женская ярость, которая

заставляет бить посуду и таскать соперниц за волосы. Напротив, всё заledenело.

Словно в груди провернули ключ, и все чувства замерли, превратившись в

прозрачные, острые льдинки. Розовая заколка-бабочка в

моем кармане

теперь обрела свое законное место. Всё сошлось. До последнего миллиметра.

Я медленно сделала два шага вперед. Мои резиновые сапоги тихо скрипнули по

мокрому полу.

Первой меня заметила Любка. Её смех оборвался на полуслове, рот остался

приоткрытым, обнажая неровные зубы с налетом помады. Она быстро

одернула руку с плеча Валерия и сделала шаг назад, к полкам с

консервами. Лицо её мгновенно покрылось неровными красными пятнами.

Валерий обернулся не сразу. Медленно, словно нехотя, он повернул голову.

Хмельная ухмылка еще мгновение держалась на его лице, а затем медленно

сползла, сменяясь глупым, растерянным выражением.

Глаза округлились, он шумно

выдохнул сквозь зубы.

— Тонь... — выдавил он, делая шаг назад от прилавка.
Рука его инстинктивно

дернулась к карману, словно он пытался спрятать сигареты. — Ты чего

здесь?

Я не ответила ему. Я смотрела прямо на Любку. Мой взгляд был спокойным, холодным

и тяжелым — тем самым взглядом, которым я усмиряла самых отпетых школьных

хулиганов. Любка отвела глаза, принявшись судорожно переставлять банки с

килькой на полке.

— Здравствуйте, Любовь Николаевна, — ровно, отчетливо произнесла я. В полупустом

магазине мой голос прозвучал удивительно громко. — Мне буханку серого хлеба,

пожалуйста. Свежего.

Любка вздрогнула. Она не решилась посмотреть на меня. Быстро, суетливо выхватила

с деревянного лотка буханку хлеба, завернула её в серую оберточную бумагу и

выложила на прилавок. Руки у нее заметно дрожали.

— С... сорок два рубля, — пробормотала она под нос.

Я достала из кошелька мелочь, отсчитала ровно сорок два рубля и аккуратными

стопками выложила монеты на стекло витрины.

— Спасибо, — сказала я, забирая хлеб.

Валерий стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. От него разило водкой. На полу

у его ног темнело грязное пятно — видимо, он наследил сапогами. Он попытался

поймать мой взгляд, открыл рот, чтобы что-то сказать, но я уже повернулась к

выходу. Колокольчик над дверью снова дребезжаще звякнул, отсекая меня от

душного пространства магазина.

Домой я шла быстро. Дождь хлестал по лицу, смывая остатки пудры, но я не

замечала холода. Внутри меня звенела пустота. Чистая, стерильная

пустота, в которой больше не было места жалости, привычке и страху перед

будущим. Двадцать пять лет совместной жизни уложились в один короткий визит за

хлебом.

Я толкнула калитку нашего двора. Она отозвалась привычным унылым скрипом. В

окнах дома было темно — Валера, уходя утром, так и не затопил печь, хотя

обещал. Сырость и холод уже пробрались внутрь.

Я разулась в темных сенях, положила хлеб на кухонный стол и прошла в зал.

У старой обувной полки, прямо на холодном линолеуме, сидел Егорка. Он был в

одних носках, его маленькие плечики были напряжены. В руках сын держал свой

осенний ботинок, у которого почти полностью оторвалась подошва. Рядом на полу

лежала толстая цыганская игла со спаленной суровой ниткой и старое папино

шило с деревянной ручкой. Мальчик упрямо пытался проткнуть жесткую кожу

ботинка, сопя от напряжения. Пальцы его были перемазаны черным гуталином.

— Егорушка, — тихо позвала я, присаживаясь рядом с ним на корточки. — Ты что

делаешь, маленький мой? Почему на полу сидишь, здесь же холодно?

Сын вздрогнул, поднял на меня свои серые, полные вины глаза и попытался спрятать

шило за спину.

— Мам... я просто... У меня подошва совсем отвалилась, каша просится. Я хотел у папы

спросить, чтобы он зашил, но он ушел утром... Сказал, занят очень, дела у него

важные на работе. Я решил сам попробовать. Чтобы ты не расстраивалась и

деньги на новые не тратила. У нас же их нет, да?
Каждое слово сына падало мне на сердце горячим оловом.
Восьмилетний ребенок

сидит в холодном доме и пытается сам зашить обувь, потому что его отец

«очень занят». Занят тем, что лапает продавщицу в магазине и глушит водку в

гаражах.
Я обняла Егорку, прижала его к себе. От него пахло детским мылом и пылью. Внутри

меня что-то окончательно закристаллизовалось. Последняя нить, связывающая меня с

Валерием, лопнула с сухим, безвозвратным треском.
— Всё хорошо, маленький, — прошептала я, целуя его в макушку. — Не надо ничего

шить. Мы купим тебе новые ботинки. Обязательно купим. А ну-ка, убирай всё это.

Иди в свою комнату, включи обогреватель, вымой руки и садись за уроки. Я сейчас

печь затоплю.

Егор послушно кивнул, собрал инструменты и убежал к себе.

Я поднялась с колен. Ноги были ватными, но в теле появилась удивительная,

жесткая легкость.

Я прошла в сени. В углу, под старыми резиновыми сапогами, лежал большие

брезентовые мешки.. Валера когда-то брал их на рыбалку и складывал туда

сети и тяжелые железные снасти. Брезент был грубым, жестким, пахнул солью и

старой речной тиной. Я подняла их, встряхнула.

Затем вернулась в спальню и распахнула створки нашего старого платяного шкафа.

Вещи Валерия висели на левой половине. Их было немного: две поношенные

фланелевые рубашки в клетку, пара старых свитеров с растянутыми

локтями, рабочие брюки. Я начала снимать их с вешалок одну за другой. Без

спешки, без злости, методично складывая в брезентовое нутро мешка. Мои движения

были точными, как у хирурга, удаляющего омертвевшую ткань.

На самом дне шкафа, завернутый в чехол от пыли, висел его синий двубортный

костюм. Тот самый, который мы покупали ему десять лет назад на областную

выставку, когда его награждали как лучшего агронома района. Валера тогда был

стройным, подтянутым, с гордой улыбкой. Он тогда еще верил в себя. И я верила

в него.

Я замерла на секунду, держа вешалку с костюмом в руках.
На ткани остался слабый

запах лаванды от моли и едва заметный аромат его старого
одеколона, которым он

не пользовался уже много лет. Прошрое пыталось уце-
питься за меня своими

тонкими, призрачными пальцами. Но перед глазами снова
встала розовая

бабочка на прилавке «Улыбки» и Егорка, ковыряющий
шилом рваный ботинок на

холодном полу.

Я решительно сняла костюм с плечиков, аккуратно сло-
жила его вчетверо и

протолкнула на самое дно брезентового мешка. Туда же
полетели его

бритвенные принадлежности из ванной, старый одеколон,
сменное белье и

стопка засаленных носовых платков. Вещи упаковались в два мешка.

Завязав горловину мешков тугой веревкой, я с трудом выволокла их в сени и

поставила прямо у входной двери. Тяжелые мешки уперлись в

косяк, перегораживая проход.

Я вернулась в дом, затопила печь. Дрова сухо затрещали в топке, по комнатам

медленно поползло первое, робкое тепло. Я села за кухонный стол, открыла

стопку тетрадей пятого класса и взяла красную ручку. Мне нужно было проверить

двадцать четыре диктанта.

Я вывела красными чернилами первую оценку, стараясь, чтобы рука не дрожала.

Снаружи, за окном, окончательно стемнело. Дождь барабанил по стеклу, ветер выл в

трубе, а я сидела в теплом классе своего дома и ждала. Ждала, когда скрипнет

калитка и послышатся тяжелые, нетрезвые шаги человека, которого здесь больше

никто не ждал. Мешки у двери стояли безмолвным стражем моей новой, трудной, но

свободной жизни.

Глава 5

Часы на стене — старые, в тяжелом дубовом корпусе, подаренные коллегами еще на

нашу свадьбу, — тикали с монотонным, раздражающим упрямством. Этот звук

казался слишком громким в притихшем доме. Печь, которую я затопила пару

часов назад, теперь делилась ровным, сухим теплом. Запах березовых дров,

смешанный с легким ароматом подгорающей в духовке картошки, заполнил

кухню, временно вытеснив из углов въевшийся застарелый перегар.

Я сидела за столом под желтым абажуром лампы и проверяла тетради. Красные

чернила ложились на серую бумагу аккуратными, безжалостными штрихами.

Ошибка. Еще одна. Дети невнимательны осенью, их мысли улетают вслед за

падающими листьями. Мои же мысли застряли здесь, в этой кухне, у самой

двери, где в темноте сеней ждал своего часа тяжелый брезентовый мешок.

В детской было тихо. Егорка послушно делал уроки, изредка шурша страницами

учебника. Лиза заперлась у себя. Она не выходила даже ужинать,

проигнорировав мой зов. Наша семья напоминала карточный домик, в

котором нижние карты уже начали тлеть, но внешне он еще удерживал свою

хрупкую форму.

Вдруг с улицы донесся знакомый звук. Скрипнула калитка.

Шаги на дорожке были тяжелыми, неровными, с характерным шлепаньем грязных сапог

по липкой глине. Сердце в груди сделало короткий, болезненный кувырок и

замерло, превратившись в холодный ком. Я не отложила ручку. Напротив,

прижала пальцы к деревянному корпусу крепче, заставив себя вывести очередную

букву на полях тетради. Коля Сеницын опять пропустил запятую в обращении.

В сениях раздался глухой удар, затем звонкий металлический стук и отборный,

хриплый мат. Валерий запнулся о мешок. Он не ожидал встретить на своем

пути препятствие там, где обычно стояли только его грязные калоши.

Дверь в кухню распахнулась с пинка.

Валерий стоял на пороге, тяжело дыша. Его куртка была распахнута, на воротнике

блестели капли дождя, волосы свалялись грязными вихрами. Лицо горело

нездоровым, хмельным румянцем, а глаза, мутные и злые, судорожно

пытались сфокусироваться на мне. Он приготовился к привычному сценарию. К

тому, что я сейчас начну читать ему нотации, кричать, упрекать в том, что он

опять пришел пьяным. Он уже заранее набрал в легкие воздуха, чтобы выдать

дежурную порцию агрессивной защиты.

Но я молчала. Я даже не подняла на него глаз, продолжая медленно вести красную

линию под неровной строчкой Коли Синицына.

Эта тишина подействовала на него хуже ушата ледяной воды. Валерий растерянно

топтался у порога, переводя дыхание, а затем сделал шаг вперед, оставляя на

чистом линолеуме жирные следы мокрой глины.

— Это... Это чего там за херня у двери стоит? — хрипло, с наездом спросил он,

кивая в сторону сеней. — Мешки чьи? Ты чего, Тоня, расхламиться решила?

Я аккуратно закрыла тетрадь Синицына. Положила её на стопку уже проверенных

работ. Положила сверху красную ручку. Только после этого я медленно подняла

голову и посмотрела на мужа. Спокойно, прямо, без единой лишней эмоции на лице.

— Это твои вещи, Валера, — мой голос прозвучал удивительно тихо, но в этой

тишине отчетливо прослушивался металл. — Всё, что здесь есть твоего, я

собрала. До последней нитки.

Он замер. Несколько секунд до его затуманенного алкоголем мозга доходил смысл

моих слов. Затем он криво, неестественно усмехнулся, дернув плечом.

— Чего? Ты чего несешь, училка? Совсем с катушек съехала на своих диктантах?

Какая еще нитка? Мой дом, вообще-то.

— Был твоим, Валера. Больше не будет, — я встала из-за стола, сохраняя

безупречную осанку. Медленно запустила руку в карман своего жилета,

нащупала жесткие пластиковые края и вытащила розовую заколку-бабочку.

Положила её на середину стола, прямо на чистую клеенку. Дешевые стразы

тускло блеснули под светом лампы. — Твоя бабочка. Вчера из магазина «Улыбка».

Вместе с чеком на две бутылки водки.

Валерий бросил взгляд на розовый пластик. Его лицо на секунду побледнело, а

затем мгновенно налилось густой, багровой краской. Он открыл рот, собираясь

выдать очередную ложь про «помогал с проводкой» или «нашел на улице», но я не

дала ему вставить ни слова.

— Я подаю на развод, Валера. Завтра утром еду в район, везу заявление. Жить в

одном доме я с тобой больше не буду. Ни одной минуты. Забирай свой мешок и

уйди. К Любке, к друзьям в гаражи — мне всё равно. Лимит терпения

исчерпан. Полностью.

— Да ты... Да ты охренела, Тонька! — его голос сорвался на крик, переходя в

хриплый рев. Он шагнул к столу, кулаки его сжались с такой силой, что

побелели костяшки. — Развод? Из-за какой-то пластмассовой херни? Да ты без

меня кто вообще? Ты в этом доме пальцем не ударила, всё на мне держалось! Я

двадцать пять лет хребет ломал, чтобы вы жрали сытно!

— Хребет ломал? — я сделала шаг ему навстречу. Внутри меня больше не было

страха. Была только ледяная, кристальная ясность. — Ты последние три года

только водку глушишь да чужие юбки лапаешь! Ты забыл, когда сыну новые ботинки

покупал? Он сегодня на полу сидел, шилом старую подошву пытался зашить, пока ты

у Любки на прилавке висел! Дочь на тебя смотреть не может, её тошнит от одного

твоего запаха! Ты пропил всё, Валера. Свою работу, свою гордость, уважение

людей. И мою любовь ты тоже пропил. До капли. Мои слова били его наотмашь. Он привык, что я молчу. Привык, что я просто убираю

за ним, стираю его грязные вещи и терплю его пьяные бредни ради «сохранения

семьи». Моя внезапная, холодная сила испугала его, и этот страх мгновенно

перерос в слепую, животную ярость.

— Любовь? — Валерий зло сплюнул на пол. — Да ты любить никогда не умела! Ты же

не женщина, Тоня, ты сухарь замороженный! Из тебя слова доброго не вытянешь,

вечно с кислым лицом ходишь, поучаешь всех! С тобой жить — как в гробу лежать!

Да любой мужик от твоей праведности запил бы! Я к Любке пошел, потому что она

живая! Она улыбается, она человеку рада, а не смотрит на него как на вошь

навозную!

Каждое его слово кололо меня под ребра, но я держала удар. Я знала, что это его

защитная реакция. Попытка переложить свою вину, свою слабость на мои плечи.

Классический прием слабого мужчины.

— Вот и иди к ней, Валера, — спокойно ответила я. — Раз она живая и рада тебе —

иди. Прямо сейчас. Я тебя больше не держу.

— Да и пойду! — заорал он, со всей силы ударив кулаком по столу. Чайная кружка

подпрыгнула и с дребезжанием повалилась набок, заливая клеенку недопитым чаем.

Розовая заколка покатилась по столу и упала на пол, жалобно звякнув. — Да

подавись ты своим домом! Думаешь, я пропаду? Да ко мне завтра Машков сам

прибежит, потому что без меня у него все поля сгниют! А ты... Ты сама ко мне

приползешь на коленях, когда жрать нечего будет! Кому ты нужна в свои сорок

лет с двумя нахлебниками на шее? Кто на тебя посмотрит, училка высохшая?

Я вздрогнула. Эти слова попали в самую уязвимую, женскую глубину моей души.

Возраст, двое детей, безденежье, одиночество в глухом се-

ле... Он бил

прицельно, зная, где у меня болит.

— Мы не пропадем, папа, — раздался от двери тихий, но удивительно твердый голос.

Мы оба мгновенно обернулись.

В проеме кухонной двери стояла Лиза. Она крепко обнимала за плечи испуганного

Егорку, который прижимался к её боку, пряча лицо в черной толстовке сестры.

Лиза смотрела на отца своими темными глазами, в которых больше не было

подростковой растерянности. Была только взрослая, холодная решимость.

— Уходи, — тихо, но отчетливо произнесла дочь. — Мы без тебя не пропадем. Нам

без тебя будет лучше. Намного лучше.

Валерий замер. Его кулаки медленно разжались. Он перевел взгляд с Лизы на

Егорку, затем снова на меня. В его глазах на секунду промелькнуло что-то

похожее на раскаяние, дикий, запоздалый испуг человека, который вдруг осознал,

что собственноручно сжег последний мост за своей спиной. Но хмельная гордость и

обида уже взяли верх.

— Вот так, значит? — хрипло выдохнул он, криво ухмыляясь. — Против отца

ополчились? Выучила детей, Тоня... Молодцы. Хорошую семейку вырастила.

Он сунул руку в карман штанов, вытащил тяжелую связку ключей на старом латунном

кольце и с силой швырнул их на стол. Ключи со звоном ударились о столешницу,

проехав по лужице пролитого чая.

— Подавитесь! — выплюнул он.

Валерий развернулся и быстро, тяжело топая, пошел в сени. Мы молча слушали, как

он возится у двери, как со скрежетом волочет по полу тяжелый брезентовый мешок

со своими вещами.

—Второй заберу позже—зло крикнул он..

Через секунду входная дверь распахнулась. В дом на мгновение ворвался холодный,

яростный вой октябрьского ветра и шум непрекращающегося дождя. Затем дверь

захлопнулась с такой силой, что в серванте жалобно зазвенел старый

хрусталь.

Всё. Он ушел.

В кухне воцарилась звенящая, мертвая тишина. На столе, среди лужицы разлитого

чая, тускло поблескивала связка ключей. На полу у моих ног лежала розовая

пластиковая бабочка с отвалившимися стразами.

Егорка вдруг громко, жалобно шмыгнул носом и уткнулся личиком в бок Лизы. Дочь

крепко прижала его к себе, а затем перевела взгляд на меня. На её бледном лице

впервые за долгие месяцы появилась слабая, едва заметная тень сочувствия.

— Мама... — тихо позвала она.

Я сделала глубокий вздох. Легкие словно обожгло ледяным воздухом. Я подошла к

детям, обняла их обоих, прижимая к себе. Мои сильные, мои бедные дети.

— Всё хорошо, родные мои. Всё хорошо, — прошептала я, целуя их мокрые макушки. —

Теперь всё будет по-другому. Мы справимся. Обязательно справимся.

Но в глубине души, за слоем ледяной решимости, его прощальные слова продолжали

жечь меня медленным, ядовитым огнем. «Кому ты нужна в свои сорок лет... Сама

приползешь...» Это была ложь. Злая, пьяная ложь слабого человека. Но в этой

лжи прятался самый главный, самый страшный женский страх перед будущим,

которое мне теперь предстояло строить в одиночку на руинах двадцати пяти

лет разрушенного брака. За окном выла октябрьская буря, унося в темноту шаги

человека, которого я когда-то любила больше жизни.

Глава 6(Валерий)

(от лица Валерия)

Тяжелый мокрый брезент бил по икрам с каждым шагом, оставляя на штанинах грязные

разводы. Я волок этот проклятый мешок по раскисшей деревенской улице, вгрызаясь

сапогами в липкую, чавкающую глину. Ледяной октябрьский ветер швырял в лицо

горсти колючей мороси, забирался под распахнутый воротник куртки, выстуживая

остатки хмельного тепла.

У поворота на центральную дорогу я остановился, тяжело дыша. Бросил мешок прямо

в лужу и оглянулся назад.

Там, в конце улицы, тускло светилось желтое окно моей бывшей кухни. Моего

бывшего дома. В груди ворочалась злая, царапающая обида, смешанная с

тошнотворным чувством непоправимости. Выгнала. Всё-таки выгнала. Я до

последнего не верил, что эта застегнутая на все пуговицы училка,

помешанная на правилах и приличиях, осмелится выставить меня за дверь.

«Кому ты нужна в свои сорок лет», — сказал я ей. И ведь был уверен, что эти

слова сработают. Что она испугается одиночества, безденежья, пересудов

бабок на лавках. А она просто смотрела на меня своими серыми, как стывшая

вода, глазами, в которых не осталось даже злости. Одно сплошное презрение.

Я с силой пнул сапогом ком грязи.

Да пошли вы все! Гордые, независимые. Посмотрим, как вы запоете через месяц,

когда дрова закончатся, а крыша в сарае потечет. Лизка, соплячка, голос

прорезался. «Нам без тебя лучше будет». И этот мелкий... с шилом на полу.

От воспоминания о Егорке внутри что-то болезненно сжалось, но я тут же залил это

чувство привычной яростью. Это Тоня виновата! Это она настроила детей против

меня! Ходила с вечно скорбным лицом, строила из себя великомученицу, пока я

там, на тракторе, спину гнул, дышал выхлопами и пылью. Я ради них всё здоровье

оставил в этом колхозе, который теперь подмял под себя этот городской хлыщ

Машков.

При мысли о директоре холдинга я скрипнул зубами. Утренний разговор,

подслушанный мной на мехдворе, ударил по самолюбию сильнее, чем

Тонин мешок с вещами. «Окончательно спился, превра-

тился в животное... Хлам».

— Я вам покажу хлам, — прорычал я в темноту, подхватывая скользкую веревку

мешка.

До мехдвора я добрался минут через двадцать. Территория была темной, только у

сторожки горел тусклый фонарь, выхватывая из мрака ко-
сые струи дождя. Сторож

Степаныч наверняка дрых в своей будке в обнимку с обогревателем. Я обогнул

ржавые остовы старых сеялок и подошел к своему «Беларусу».

Железная громадина стояла под открытым небом, покорно принимая на себя удары

непогоды. Я забросил мешок в кабину — он тяжело плюхнулся на пассажирское

сиденье, подняв облачко вековой пыли, которую тут же прибило сыростью.

Забравшись внутрь, я с лязгом захлопнул за собой дверцу,

отсекая шум

ветра.

Внутри пахло соляжкой, прогорклым машинным маслом и застарелым табаком. Этот

запах был мне роднее и понятнее, чем аромат Тониного борща. Здесь я был

хозяином.

Я пошарил рукой под сиденьем. Там, в ящике с инструментами, между промасленными

тряпками и гаечными ключами, у меня была спрятана за-
начка. Плоская фляжка с

дешевым коньяком, которую я купил у дальнобойщиков еще на прошлой неделе.

Пальцы нащупали холодный металл. Я скрутил крышку и
жадно, в три больших

глотка, влил в себя обжигающую жидкость.

Коньяк пошел тяжело, царапая горло, но уже через мину-
ту по венам побежало

густое, спасительное тепло. Дрожь в руках унялась. Мысли перестали

метаться и выстроились в одну четкую, пьяную линию.
Я свободный мужик. У меня есть профессия, есть руки.
Завтра же пошлю Машкова на

хрен, заберу трудовую и уеду в район. Там механики всегда нужны. А сегодня...

Сегодня мне нужно выпить по-нормальному. По-мужски.
Поехать к Михалычу на

дальний кордон — это километров пятнадцать отсюда по старой грунтовке. Там,

на лесопилке, всегда есть компания, спирт и горячая печка. Посидим, я расскажу

им, какую змею пригрел на груди. Они поймут. Мужики всегда понимают.

Я вставил ключ в замок зажигания. Дизель кашлянул, захлебнулся, но со второй

попытки взревел, наполняя кабину мелкой, зудящей вибрацией. Я включил фары.

Два желтых луча прорезали водяную завесу, осветив грязную лужу впереди.

Трактор тяжело тронулся с места, переваливаясь на ухабах. Я вывел его за ворота

мехдвора, минуя асфальтированную центральную улицу, и свернул на проселочную

дорогу.

Грунтовка, разбитая лесовозами, после дневного дождя превратилась в сплошное

глиняное месиво. Но старый «Беларус» пер вперед, как танк. Я вцепился в

потрескавшийся пластик руля, чувствуя, как с каждым километром во мне

нарастает дурная, пьяная бравада. Дворник с противным скрежетом елозил по

стеклу, размазывая воду.

— Ничего, прорвемся! — крикнул я в пустую кабину, перекрикивая рев мотора. — Еще

попляшете у меня! Все попляшете! И Тонька, и Машков, гнида московская!

Дорога пошла на подъем, огибая лесной массив. Здесь, у старой заброшенной

мельницы, грунтовка сужалась, делая крутой поворот. Справа возвышался

крутой, поросший соснами склон, а слева зиял глубокий овраг. Летом там текла

пересохшая речушка, а сейчас, осенью, овраг превратился в черную, бездонную яму,

заполненную грязью, острыми камнями и поваленными деревьями. Местные старались

объезжать это место даже днем, но для трактора это был самый короткий путь на

лесопилку.

Я сбросил скорость, выкручивая руль. Резина, почти лысая от многолетней

эксплуатации, начала скользить по мокрой глине. Трактор слегка повело в

сторону оврага, но я привычно перехватил управление, выравнивая тяжелую машину.

И тут, из-за поворота, мне в глаза ударил ослепительный, мертвенно-белый свет.

Ксеноновые фары вынырнули из темноты неожиданно, как выстрел в упор. Я

инстинктивно зажмурился, прикрывая глаза ладонью. В нашем районе такие

фары были только у одной машины. Черный внедорожник Лукьяна Машкова. Видимо,

директор холдинга возвращался с совещания из районного центра и решил

срезать путь, не желая трястись по разбитому асфальту в объезд.

Сердце в груди вдруг сделало мощный, горячий толчок. Алкоголь и затаенная злоба

вспыхнули внутри как бензин от спички.

Вот он. Хозяин жизни. Едет в своем теплом кожаном салоне, слушает музыку и

решает, кого казнить, а кого миловать. Утром он списал меня в утиль, а

сейчас даже не сбавит ход, ожидая, что я, как послушный холоп, прижмусь к

самому краю оврага, рискуя слететь вниз, чтобы уступить ему дорогу.

— Хрен тебе! — вырвалось из моего горла хрипкое рычание. — Не на того напал,

барин!

Вместо того чтобы взять вправо, к обрыву, я резко дернул руль влево, выводя

тяжелый трактор на самую середину узкой дороги. Я хотел его напугать. Хотел

увидеть, как этот гладко выбритый менеджер ударит по тормозам, как его дорогая

иномарка юзом пойдет по грязи, как он поймет, что здесь, на этой земле, железо

и мужик за рулем решают больше, чем его городские понты.

Внедорожник стремительно приближался. Водитель Машкова, поняв, что я не уступаю,

истерично ударил по клаксону. Пронзительный, высокий звук сирены вплеся в шум

дождя и рев дизеля. Свет фар залил мою кабину, высвечивая каждую трещинку на

стекле.

Расстояние сокращалось. Тридцать метров. Двадцать. Десять.

Внедорожник резко вильнул вправо, прижимаясь к самому склону холма, обдавая меня

фонтаном жидкой грязи из-под широких колес. Они разъехались со мной буквально в

сантиметрах. Я краем глаза успел заметить искаженное от испуга лицо водителя за

боковым стеклом.

Победный, злой смех уже готов был сорваться с моих губ, когда я понял, что

совершил фатальную ошибку.

Из-за того, что я взял слишком сильно влево, огромные задние колеса трактора

попали на рыхлую, размытую ливнями обочину со стороны оврага. Глина под

многотонной тяжестью машины просто поползла вниз, как растаявшее масло.

Смех застрял в горле. Я резко рванул руль вправо, вжимая педаль газа в пол,

надеясь, что протектор зацепится за твердый грунт и вытянет машину. Но

лысая резина только беспомощно шлифовала жидкую грязь, зарываясь всё

глубже.

Время внезапно потеряло привычный ход. Оно растянулось, превратившись в вязкое,

замедленное кино.

Я почувствовал, как кабина начинает крениться влево. Медленно, неумолимо.

Горизонт в лобовом стекле пополз вверх. Рев мотора пре-

вратился в

надрывный, захлебывающийся визг.

— Нет, нет, нет! Стоять, тварь! — заорал я, наваливаясь всем весом на руль,

словно мог своим телом уравновесить падающую громадину.

Тщетно. Земля под левым колесом окончательно обвалилась. Трактор накренился под

критическим углом. Гравитация, жестокая и неумолимая, вступила в свои права.

В следующую секунду кабина ухнула в темноту.

Чувство невесомости длилось лишь долю мгновения, а затем мир взорвался.

Первый удар пришелся на передний мост. Металл лязгнул с таким чудовищным звуком,

будто раскололся сам земной шар. Меня швырнуло вперед. Я ударился грудью о

рулевую колонку, выбивая из легких весь воздух. Трактор кувыркнулся через

крышу. Лобовое стекло брызнуло мне в лицо тысячами

острых, ледяных осколков.

Брезентовый мешок с моими вещами ударил меня по затылку, а затем вылетел в

выбитое боковое окно.

Второй удар был еще страшнее. Машина рухнула на дно оврага, прямо на толстый

ствол поваленного дуба. Крыша кабины смялась, как дешёвая консервная банка,

вминаясь внутрь.

В этот момент я перестал быть хозяином жизни. Я перестал быть обиженным мужем,

гордым механизатором, борцом с несправедливостью. Я превратился в жалкий,

хрупкий мешок с костями, который раздавило неумолимой массой искореженного

железа.

В спине, где-то между лопаток и поясницей, вспыхнула такая ослепительная,

нечеловеческая боль, что мой собственный крик потонул в ней, так и не

успев сорваться с губ. Тело пронзило разрядом тока, а затем нижняя половина

меня просто исчезла. Перестала существовать. Трактор замер. Двигатель заглох, издав напоследок шипящий звук лопнувшего

патрубка. Горячий тосол брызнул мне на шею, обжигая кожу, но я едва это

почувствовал.

Я висел вниз головой, зажатый между деформированным рулем и сплюсненной крышей. В

нос ударил густой, удушливый запах пролитой солянки, смешанный с металлическим

привкусом собственной крови, которая заливала глаза. Дождь хлестал через

выбитые окна, смешиваясь с грязью.

Я попытался пошевелить ногами, чтобы освободиться. Отдал мозгом четкий приказ.

Ничего.

Паника, первобытная, ледяная и липкая, охватила мой за-
тухающий разум. Я не

чувствовал своих ног. Я вообще не чувствовал ничего ни-
же груди. Только

пульсирующий, огненный кол в спине, который разрывал
меня на части при

каждом судорожном, коротком вдохе.

Где-то наверху, на дороге, сквозь шум дождя послышался
скрип тормозов. Хлопнули

автомобильные двери.

— Эй! Есть кто живой?! — крикнул сверху чей-то пере-
пуганный голос. Кажется, это

был водитель Машкова.

Я открыл рот, чтобы позвать на помощь, чтобы сказать,
что я здесь, что мне

больно. Но вместо слов из горла вырвался лишь кровавый,
булькающий хрип.

Последнее, что я увидел перед тем, как спасительная тьма
окончательно сомкнулась

над моим сознанием — это кусок моего выходного синего костюма, который вывалился

из разорванного брезентового мешка и теперь беспомощно тонул в черной, грязной

луже на дне оврага. Прямо как моя жизнь.

Глава 7

Угли в печи давно подернулись сизой золой, но из чугунной дверцы все еще тянуло

ровным, сухим жаром. Я сидела на табурете у окна, подтянув колени к груди и

обхватив их руками. На плечах тяжело лежал старый пуховый платок.

Часы пробили два ночи.

Дом, избавившись от присутствия Валерия, словно выдохнул. Исчезло то постоянное,

фоновое напряжение, заставляющее вслушиваться в каждый шорох: как он хлопнул

дверью, с какой интонацией кашлянул, не звякнула ли в сенях бутылка. Воздух

очистился. Я физически ощущала эту пустоту — она была огромной, гулкой, пахла

остывающей золой и сушеной мятой, пучок которой висел над кухонной плитой.

Полчаса назад я обошла комнаты детей. Егорка спал, раскинув руки поверх одеяла,

на его щеке отпечатался след от шва на наволочке. Возле его кровати, на стуле,

стояли те самые рваные ботинки, которые он так и не смог зашить. Я поправила

одеяло, укрыв его худенькие плечи. Лиза тоже спала, свернувшись калачиком и

спрятав лицо в подушку. В свете уличного фонаря, пробивающегося сквозь щель в

шторах, её лицо казалось совсем детским, беззащитным. Вся её дневная колючесть

и агрессия растворились во сне.

Я вернулась на кухню, но лечь не могла. Сон не шел. Мозг, словно перегретый

мотор, продолжал прокручивать события вечера.

Жалела ли я о том, что выставила его? Нет. Внутри царила абсолютная, кристальная

уверенность в своей правоте. Женщина может простить бедность, может простить

болезнь, тяжелый характер или неудачу в делах. Но она никогда не простит

равнодушного предательства и того момента, когда мужчина начинает вытирать

ноги о её достоинство, чтобы казаться себе выше. Валера перешел эту черту.

Розовая пластиковая бабочка, которую я час назад безжалостно смела в

мусорное ведро вместе с картофельными очистками, была лишь финальной

точкой.

«Кому ты нужна в свои сорок лет...»

Я усмехнулась в темноту. Глупый, запутавшийся в своих обидах человек. Мне не

нужно быть кому-то нужной в том смысле, который вкладывал он. Мне нужно

просто выжить, поднять детей и перестать вздрагивать от запаха перегара.

Завтра будет тяжелый день. Поездка в район, подача заявления на развод,

неизбежные расспросы соседей, поджатые губы матери. Но это будет завтра. А

сейчас я впервые за долгие годы принадлежала самой себе.

Дождь за окном не прекращался. Он сменил ритм: перестал хлестать короткими,

злыми порывами и перешел в затяжной, монотонный осенний ливень. Вода густо

журчала в водосточной трубе, переполняя железную бочку на углу дома.

Внезапно сквозь этот ровный водяной гул прорвался другой звук.

Резкий, отрывистый стук.

Не в дверь. В окно. Прямо в стекло кухонной рамы.

Я вздрогнула так, что табурет подо мной скрипнул. В деревне не стучат в окна по

ночам просто так. Этот звук всегда, с самого моего детства, означал только одно

— беду. Пожар, телеграмму о смерти, несчастный случай. Сердце, до этого бывшееся

ровно и спокойно, мгновенно сорвалось в бешеный галоп, ударяясь о ребра.

Я медленно опустила ноги на линолеум. Стук повторился — на этот раз настойчивее,

громче. Стекло мелко задребезжало в разошедшейся раме. — Иду! — крикнула я хриплым со сна голосом, сбрасывая платок на стул.

Щелкнув выключателем в сенях, я зажгла тусклую лампочку под потолком. Подошла к

входной двери. Пальцы, вдруг ставшие ледяными и непослушными, с трудом

справились с тяжелым железным засовом.

Я распахнула дверь, и меня тут же обдало ледяным ветром и брызгами дождя.

На крыльце стояли двое.

Свет лампочки выхватил из темноты бледное, перекошенное лицо Паши — молодого

фельдшера из нашей сельской амбулатории. На нем была накинута прямо на

пижамную рубашку куртка скорой помощи, на ногах — резиновые сапоги. Паша

тяжело, прерывисто дышал, словно бежал всю дорогу, а его глаза лихорадочно

бегали, избегая моего взгляда.

А вторым был Лукьян Машков.

Директора агрохолдинга я видела близко лишь пару раз, на школьных линейках, куда

он приезжал вручать подарки от предприятия. Лощеный, уверенный в себе москвич в

дорогих костюмах. Но сейчас... Сейчас от его лоска не осталось и следа. Его

фирменная непромокаемая куртка была густо, от груди до колен, вымазана

рыжей, скользкой глиной. На правой щеке чернел мазутный след, а руки,

сжимавшие козырек крыльца, заметно подрагивали.

Но самое страшное было не это. На рукаве Машкова, в свете тусклой лампы,

отчетливо блестело свежее, густое, темное пятно. Кровь.

Земля ушла у меня из-под ног. Я вцепилась обеими руками в дверной косяк,

чувствуя, как деревянная заноза впивается в ладонь, но боль прошла мимо

сознания.

— Антонина Львовна... — голос Паши-фельдшера дал петуха, сорвался на сиплый шепот.

Он сглотнул, нервно дернув кадыком. — Тетя Тоня... Вы только не кричите. Детей не

пугайте.

— Что? — звук моего собственного голоса показался мне чужим. Сухим, мертвым

шелестом.

Машков тяжело вздохнул, отодвинул растерянного фельдшера в сторону и шагнул ко

мне. Его лицо было серым, как пепел в моей печи.

— Ваш муж, Антонина, — Машков говорил быстро, рубя фразы, словно пытался

вытолкнуть из себя тяжелый груз. — Авария на старой грунтовке, у

мельницы. Трактор ушел в овраг.

Мир вокруг сузился до размеров грязного пятна крови на его рукаве.

Валера. Мешок. Гроза. Он ушел два часа назад.

Гнев, презрение, обида, планы на развод — всё это мгновенно испарилось,

выжженное дотла вспышкой первобытного, животного ужаса. Перед глазами

стояло не лицо пьяного, злого мужика, швыряющего ключи на стол. Перед глазами

стоял отец моих детей. Человек, чьи руки я знала наизусть, с которым мы делили

один кусок хлеба в голодные девяностые.

— Он жив? — я не узнала свой голос. Это был звериный

рык, вырвавшийся из самых

недр грудной клетки.

— Жив, — быстро ответил Машков, перехватив мой взгляд. Но в его глазах не было

утешения. — Пока жив. Мы его вытащили. Мой водитель сейчас с ним там, держит

его... Мы не смогли его положить в мою машину, побоялись.

— Почему побоялись? Паша, что с ним?! — я перевела безумный взгляд на фельдшера.

Паша задрожал крупной дрожью, втянув голову в плечи.

— Тетя Тоня... Его там зажало страшно. Крышей трактора. У него спина... Понимаете,

он ног не чувствует. Совсем. Там, кажется, позвоночник... Я вколол всё

обезболивающее, что было в чемоданчике, но это капля в море.

Кровопотеря большая.

Я покачнулась. Машков инстинктивно протянул руку, чтобы поддержать меня за

локоть, но я отшатнулась, устояв на ногах. Учительская привычка держать

лицо перед любой катастрофой сработала на уровне рефлексов. Я сжала зубы так

сильно, что во рту появился солоноватый привкус.

— Где скорая? — четко, чеканя каждое слово, спросила я.

— Я вызвал реанимацию из района, — ответил Машков, глядя на меня с нескрываемым

уважением. Видимо, он ожидал истерики, обморока, бабьих слез и причитаний,

которыми так славится деревня. — Они уже выехали. Минут через двадцать

будут на трассе. Я приехал за вами. Собирайтесь. Быстро. — Сейчас, — коротко кивнула я.

Я развернулась и пошла в дом. Мои движения были рублеными, механическими. Я

зашла в спальню, натянула поверх домашнего платья теплые колготки, влезла в

плотные джинсы. Схватила со стула свитер. Мысли работали с пугающей, ледяной

четкостью. Взять паспорт. Свой и его. Полис. Деньги? Денег нет. Господи, где

взять деньги, если понадобится срочная операция?

Я заглянула в комнату Лизы. Дочь спала. Будить? Нет. Если я скажу ей сейчас,

начнется паника, она побежит в ночь под дождь. Я должна сначала увидеть всё

сама.

Я вырвала из блокнота на столе чистый лист и красной ручкой, которой час назад

исправляла ошибки, крупно написала: «Лиза, я уехала в больницу. Папа попал в аварию.

Закрой дверь на засов. Береги Егора. Позвоню утром. Мама».

Положила записку на кухонный стол, придавив её пустой чайной кружкой.

В сенях я впрыгнула в резиновые сапоги, накинула свое старое осеннее пальто и

обмотала шею тем самым пуховым платком.

Машков и Паша ждали меня у калитки. Черный внедорожник, сверкающий в темноте

струями дождя, стоял с заведенным мотором. Его огромные фары выхватывали

куски раскисшей улицы.

Я молча подошла к машине. Машков открыл передо мной заднюю дверь. Я скользнула

на кожаное сиденье. В салоне пахло дорогим парфюмом, включенной на полную

мощность печкой и всё тем же густым, железистым запахом крови. На бежевой

коже соседнего сиденья темнели грязные разводы.

Машков сел за руль, Паша плюхнулся на пассажирское сиденье спереди. Внедорожник

рванул с места, тяжело переваливаясь через ухабы.

Мы ехали молча. Дворники лихорадочно смахивали воду со стекла. Деревня

проносились мимо темными, спящими избами. Никто не знал, что в эту

секунду наша жизнь навсегда раскололась на «до» и «после».

— Как это случилось? — нарушила я тишину, когда мы выскочили на асфальт. Мой

голос звучал глухо, как из-под земли.

Машков посмотрел на меня через зеркало заднего вида. В свете приборной панели

его лицо казалось высеченным из камня.

— Он выехал навстречу мне, Антонина Львовна. На узком участке у оврага. Я

сигналил, взял вправо до упора. А он... Он словно на таран шел. Специально.

В последний момент, видимо, очнулся, дернул руль. Колеса сорвались с обочины.

Земля мягкая после дождя. Трактор ушел вниз.

Я закрыла глаза. На таран. Пьяный, озлобленный, униженный мной и уволенный им.

Валера искал смерти или хотел доказать свою мнимую силу? Теперь это не имело

значения.

— Вытаскивать пришлось тяжело, — продолжил Машков, не сводя глаз с дороги. —

Двери заклинило. Водитель у меня крепкий, монтировкой отжимали. Валера в

сознании был пару минут.

Я подалась вперед, вцепившись пальцами в подголовник его кресла.

— Что он сказал?

Машков помолчал, обгоняя редкий ночной грузовик.

— Ничего не сказал. Он кричал, Антонина. Так кричал, что у меня кровь в жилах

стыла. А потом отключился.

Мы свернули на проселочную дорогу, ведущую к старой мельнице. Вдалеке, сквозь

пелену дождя, уже мигали тревожные синие проблесковые маячки. Районная

реанимация успела раньше нас.

Свет фар выхватил жуткую картину. На краю обрыва, размытого водой, стояла желтая

машина скорой помощи с открытыми задними дверями. Рядом, в грязи по щиколотку,

сустились люди в медицинских костюмах. На земле лежал человек, накрытый

термоодеялом из фольги, которое зловеще поблескивало в свете мигалок.

Внедорожник еще не успел полностью остановиться, а я уже рванула ручку двери.

Вывалилась в жидкую глину, едва не упав, и побежала к желтой машине.

— Стойте! Женщина, куда?! — крикнул мне наперерез плотный врач в синей куртке,

преграждая путь.

— Я жена! Пустите! — я оттолкнула его руку с силой, которой сама от себя не

ожидала, и бросилась к носилкам.

Он лежал на жестком пластиковом щите. Вокруг его шеи был плотно застегнут

фиксирующий воротник. Лицо Валеры превратилось в страшную маску: лоб

рассечен, кровь смешалась с грязью и запеклась в бровях, кожа приобрела

жуткий, землисто-серый оттенок, сливаясь с темнотой ночи. Глаза были

закрыты. К вене на руке тянулась прозрачная трубка капельницы.

От него пахло уже не водкой. От него пахло смертью, мокрой землей и

медикаментами.

— Валера... — выдохнула я, падая на колени прямо в ледяную грязь. Я протянула руку

и осторожно, боясь причинить боль, дотронулась до его грязных, всклокоченных

волос. — Валера, господи...

Его веки дрогнули. Медленно, с нечеловеческим усилием, он приоткрыл глаза.

Зрачки были расширены, взгляд плавал, не в силах сфокусироваться. Он

попытался облизать пересохшие, потрескавшиеся губы.

— Тонь... — звук был похож на шелест сухих листьев.

Едва различимый шепот.

— Я здесь. Я тут, Валера. Мы едем в больницу. Потерпи, родной, потерпи, — слезы,

которые я так долго сдерживала, наконец прорвали плотину, горячими каплями падая

на его грязную куртку. В эту секунду я забыла всё. Забыла Любку, забыла свои

обиды, забыла собранный мешок. Передо мной лежал мой муж. Часть моей жизни,

которую сейчас выдирали из меня с мясом.

— Тонь... — он скрипнул зубами от очередного спазма боли, по его лицу пробежала

судорога. — Мешок... Мешок там... Костюм синий испачкался...

У меня перехватило дыхание. Он бредил. В состоянии шока его мозг цеплялся за

последние обрывки реальности. За тот самый костюм, символ его былой

гордости, который я запихнула на дно брезентового мешка.

— Плевать на костюм, — всхлипнула я, сжимая его холодную, безвольную ладонь. —

Купим новый. Только живи, слышишь? Не смей меня бросать вот так!

Врач скорой тронул меня за плечо. Жестко, профессионально.

— Всё, мамаша, отходим. Грузим в машину. У нас счет на минуты идет. Давление

падает.

Санитары подхватили щит и быстро задвинули его в нутро желтого автомобиля. Двери

захлопнулись перед моим носом.

Я осталась стоять на коленях в грязи, глядя на удаляющиеся красные огни

габаритов. Дождь бил меня по спине, пропитывая старое пальто насквозь.

Кто-то подошел сзади. Сильные руки взяли меня за предплечья и рывком, но

бережно, подняли на ноги. Это был Машков. Он стоял без зонта, вода

стекала по его лицу.

— Поехали в район, Антонина, — сказал он тихо. — Я отвезу.

Я повернулась к нему. Мое лицо было мокрым от дождя и слез.

— Он выживет? — спросила я, заглядывая в его темные глаза, ища там хоть каплю

надежды.

Машков не стал врать. Он посмотрел на растерзанный овраг, где в темноте покоился

искореженный металл старого трактора, затем перевел взгляд на меня.

— Я вызвал лучшего хирурга в районе. Маркела. Он собирает людей по частям. Но я

скажу вам честно, Тоня... — Машков впервые назвал меня по имени, без отчества. —

Травма позвоночника критическая. Готовьтесь к самому худшему. Даже если он

выкарабкается, прежним Валерой он уже не будет никогда. Это ярмо на всю

жизнь. Подумайте об этом по дороге.

Я вырвала свою руку из его хватки. Выпрямила спину, несмотря на быющую меня

дрожь.

— Поехали, — жестко сказала я, направляясь к его внедорожнику.

В ту ночь, под проливным октябрьским дождем, закончилась моя старая жизнь. И

началась новая, страшная в своей неизвестности битва. Битва не за брак, а за

жизнь человека.

Глава 8

Неоновый свет люминесцентных ламп в коридоре хирургического отделения казался

осязаемым. Он резал воспаленные от слез и бессонницы глаза, выбеливал

выкрашенные бледно-зеленой масляной краской стены и бросал резкие,

неживые тени на потрескавшийся кафельный пол. Воздух здесь был густым,

пропитанным стойким запахом хлора, камфоры и застарелой человеческой боли.

Я сидела на жесткой дерматиновой банкетке у дверей операционной. Мое старое

пальто насквозь промокло, джинсы до самых колен были покрыты засохшей

коркой той самой глины, в которой я стояла на коленях над телом мужа. Меня

знобило. Мелкая, противная дрожь начиналась где-то в районе солнечного сплетения

и волнами расходилась по всему телу, заставляя стучать зубами.

Лукуян Машков уехал полчаса назад. Он дождался, пока Валерия увезут за тяжелые

белые двери, переговорил с дежурным врачом в приемном покое и вернулся ко мне.

В его руках был пластиковый стаканчик с обжигающе горячим, горьким кофе из

автомата.

— Выпейте, Антонина, — велел он, втискивая картонный цилиндр в мои непослушные,

ледяные пальцы. — Я должен вернуться в село. Утром пришлю машину с вещами,

напишете список, что нужно. Все расходы на первые лекарства и операционные

материалы холдинг берет на себя.

Я подняла на него пустой взгляд.

— Зачем вам это? Вы же его уволили.

Машков отвел глаза. В жестком свете больничного коридора он казался обычным

уставшим мужчиной, потерявшим свой столичный лоск.

— Я уволил пьяницу, который гробил мою технику. Но я не посылал его на смерть.

То, что случилось на дороге... Мы оба знаем, почему он вывернул руль. Если бы я

затормозил на секунду позже, мы бы лежали в том овраге вдвоем. Считайте это

платой за мою жизнь, Тоня. Я позвонил Маркелу. Он лучший хирург в области,

хотя работает здесь, в районе. Он сделает всё, что в человеческих силах.

Машков ушел, чеканя шаг по гулкому коридору, а я осталась одна. Один на один с

мигающей лампой над дверью с надписью «Не входить! Идет операция».

Время потеряло смысл. Я смотрела на свои руки, сжимающие остывший кофе. Под

ногтями чернела грязь. На костяшке правого указательного пальца запеклась

тонкая царапина — вчера днем я случайно зацепилась за край парты, когда

проверяла тетради. Вчера днем. Господи, неужели это было только вчера?

Кажется, прошла целая вечность.

Мои руки. Этими самыми руками я несколько часов назад хладнокровно, методично

складывала вещи Валерия в брезентовый мешок. Я записывала туда его рубашки,

мысленно вычеркивая этого человека из своей судьбы. Я была уверена, что

освободилась. Что отрезала гниющую часть своей жизни, чтобы спасти себя и

детей. А теперь я сижу под дверью операционной и молю Бога, в которого никогда

толком не верила, чтобы этот человек просто продолжал дышать.

Это не было проявлением внезапно вспыхнувшей любви. Иллюзий я не питала. Та

любовь, горячая, юная, заставлявшая когда-то бегать к нему на свидания

через все село, давно сгорела в перегаре его запоев. То, что сжимало сейчас

мое горло ледяными тисками, называлось иначе. Ответственность. Память. Жалость.

Он был отцом Егора и Лизы. Он был тем мужчиной, который пятнадцать лет назад,

когда я рожала Лизу, стоял под окнами роддома и плакал от счастья. Нельзя

просто вычеркнуть человека, если его кровь течет в твоих детях. Если он

умрет сегодня, на операционном столе, мои дети навсегда запомнят его как

спившегося неудачника, которого мать выгнала в ночь. Я не могла позволить

смерти зафиксировать этот позорный финал.

Белые створки операционной мягко разъехались в стороны.

Я мгновенно вскочила, выронив пустой стаканчик. Он покотился по кафелю с сухим,

раздражающим пластиковым стуком.

Из дверей вышел врач.

Ему было далеко за пятьдесят. Высокий, широкоплечий, с короткой ежиком стриженной

седой головой. Лицо его было изрезано глубокими, жесткими морщинами, а под

глазами залегли такие темные тени, словно он не спал несколько суток. На

нем был выцветший зеленый хирургический костюм. Он стягивал с рук тонкие

резиновые перчатки. По латексу тянулись свежие, яркие полосы чужой крови.

Крови моего мужа.

Это был доктор Маркел. Человек-легенда нашего района, о тяжелом характере и

золотых руках которого ходили слухи далеко за пределами области.

Он бросил перчатки в желтый пластиковый контейнер у стены, тяжело выдохнул и

перевел взгляд на меня. Его глаза, выцветшие, серо-стальные, смотрели цепко,

без капли профессионального сочувствия, к которому привыкли родственники

больных. Он оценивал меня. Сканировал, словно рентгеновский аппарат.

— Елисеева? — голос у Маркела оказался низким, с легкой хрипотцой, ровным и

совершенно лишенным эмоций.

— Да, — я сделала шаг вперед. Колени предательски подогнулись, но я заставила

себя выпрямить спину. — Я жена. Антонина. Он...

— Жив, — коротко отрубил хирург, не дав мне догово-

рять.

Я закрыла лицо руками. Горячая, спасительная волна облегчения ударила в голову

так сильно, что перед глазами поплыли темные круги.
Жив.

— Рано радуетесь, Антонина, — голос Маркела вернул меня в реальность резким,

отрезвляющим ударом. — Присядьте. Разговор будет долгим и неприятным.

Он указал мне на банкетку, а сам прислонился к стене, скрестив на груди мощные

руки. На его рукаве я тоже заметила бурые пятна.
— Машков просил сделать всё возможное. Мы сделали.
Кровотечение из разорванной

селезенки остановили, саму селезенку пришлось удалить.
Легкое задето ребром,

поставили дренаж. Ушибы внутренних органов, сильное сотрясение. Но это всё

лирика, Антонина. Организм у него крепкий, тракторный. Эти раны заживут.

Проблема в другом.

Маркел замолчал, внимательно глядя на мою реакцию. Я сидела прямо, вцепившись

пальцами в край дерматинового сиденья.

— Говорите всё как есть, доктор. Я не упаду в обморок.

Уголок его губ едва заметно дрогнул в подобии одобрительной усмешки.

— Хорошо. Тогда слушайте. У вашего мужа оскольчатый компрессионный перелом

поясничного отдела позвоночника. Позвонки L3 и L4 буквально сплющило от

удара. Разрыва спинного мозга, к счастью, нет. Но есть сильнейшее сдавливание

нервных окончаний и масштабный отек тканей. Сейчас он находится в

медикаментозной коме. Завтра к вечеру мы его выведем.

— Что это значит на практике? — мой голос прозвучал сухо. Я требовала фактов,

отгоняя эмоции на задний план.

— На практике это значит, что нижняя половина его тела сейчас парализована, —

безжалостно произнес Маркел. — Он не сможет ходить. Не сможет встать. Первое

время он не сможет даже самостоятельно контролировать функции тазовых органов.

Вы понимаете, о чем я говорю, Антонина?

Я поняла. До последней, грязной и унижительной бытовой детали. Судна, памперсы,

пролежни.

— У него есть шанс снова начать ходить?

Маркел пожал плечами, отрываясь от стены.

— Шанс есть всегда, если спинной мозг цел. Отек спадет через пару недель. Но

дальше всё будет зависеть не от меня. И даже не от таблеток. Это будут

месяцы, а может, и годы адского труда. ЛФК, массажи, боль, слезы.

Медицинской страховки у него нормальной нет, квоту на

реабилитационный

центр вы будете выбивать месяцами. Вам придется забрать его домой.

Он сделал шаг ко мне, нависая сверху своим массивным телом. Его взгляд стал еще

тяжелее.

— Я знаю вашу историю, Антонина Львовна. Село маленькое, слухи доходят даже до

моей ординаторской. Я знаю, что он пил. Знаю, что вы собирались разводиться.

Поэтому я задам вам прямой вопрос, как врач врачу, потому что педагогика — это

тоже лечение. Вы потянете это ярмо?

— Я не понимаю вас, — тихо ответила я, выдерживая его взгляд.

— Всё вы понимаете, — отрезал Маркел. — Одно дело — выгнать на улицу здорового,

гулящего мужика, который сам себе испортил жизнь. И совсем другое — взвалить на

себя девяносто килограммов живого веса, который будет ненавидеть вас за свою

беспомощность. Он будет срывать на вас злость, он будет материть вас, когда

вы будете менять ему пеленки. Он сожрет ваше время, вашу молодость и ваши

нервы. Если вы сейчас скажете «нет», я вас не осужу. Оформим его в

государственное отделение сестринского ухода. Подумайте. С такой обузой

вашей личной жизни придет конец.

Каждое слово Маркела было правдой. Жестокой, хирургически точной правдой,

вскрывающей саму суть моей будущей жизни. Я посмотрела на белые двери

операционной. За ними лежал человек, который предал меня. Человек, который

променял мою верность на дешевые стразы Любки из

сельпо. Оставить его

государству? Развестись, как планировала, и забыть эту главу?

Я закрыла глаза. Перед внутренним взором возник Егорка, сидящий на холодном полу

с рваным ботинком. Лиза, бросающая окурок в лужу со словами: «Нам без него будет

лучше».

Нет. Не будет лучше. Если я брошу его сейчас, они вырастут с осознанием того,

что слабого можно выбросить на помойку. Что человеческая жизнь не стоит

ничего. Я не позволю Валерию сгнить в казенной палате в наказание за его

грехи. Свое наказание он уже получил там, на дне оврага. А мое наказание,

видимо, заключается в том, чтобы научить его заново быть человеком.

Я открыла глаза и посмотрела прямо в колющие зрачки

доктора Маркела.

— Я заберу его домой, как только вы разрешите выписку,
— мой тон не допускал

возражений. — Я не святая, доктор. Я не собираюсь изображать из себя любящую

жену, которая всё простила. Но он отец моих детей. И я вытащу его на ноги, чего

бы мне это ни стоило. А его злость... Поверьте, у меня хватит сил заткнуть ему

рот, когда потребуется. Я работаю в школе двадцать лет. Справляюсь.

Маркел смотрел на меня несколько долгих секунд. Изучал. Впервые за весь разговор

его лицо слегка расслабилось, а в глазах появилось что-то, отдаленно

напоминающее уважение.

— Вы страшная женщина, Антонина Львовна, — задумчиво произнес он. — Стержень у

вас из титана. Что ж, раз решили...

В этот момент со стороны лестничного пролета, ведущего на первый этаж,

послышался быстрый, цокающий звук каблуков.

Мы оба повернули головы.

В конце коридора, тяжело дыша, стояла Любка.

Она была в накинутах поверх того самого бордового халата дешевом дерматиновом

плаще. Её пергидрольные кудри растрепались под дождем и прилипли к щекам,

синие тени размазались, превратив глаза в две грязные лужицы, а ярко-розовая

помада была частично съедена. Видимо, новость об аварии мгновенно разлетелась по

деревне, и она примчалась сюда на попутке. В ней было всё от дешевой мелодрамы:

испуганный взгляд, прижатые к груди пухлые руки, театрально приоткрытый рот.

Она увидела меня, замерла на месте, но тут же перевела взгляд на хирурга в

зеленом костюме.

— Доктор... — её голос дрожал, разрывая больничную тишину истеричными нотками. —

Валера... Валерка Елисеев... Что с ним? Он живой?!

Маркел медленно повернулся к ней. Окинул её взглядом с головы до ног, мгновенно

считав всю ситуацию. Опытный врач видел в своей жизни достаточно жен, любовниц

и случайных попутчиц.

— Вы кем приходитесь пациенту? — холодно осведомился хирург.

Любка замялась. Стрельнула глазами в мою сторону. Я сидела на банкетке, даже не

шелохнувшись, только сложила руки на коленях.

— Я... я близкая подруга, — выдавила она из себя, делая шаг вперед. — Мы вместе

работаем... почти. Что с ним? Скажите правду, я сильная! Маркел усмехнулся. Жестко, уголком губ.

— Сильная? Ну, слушайте, сильная подруга. Пациент Елисеев жив. Но у него

раздроблен позвоночник. Нижняя часть тела парализована. Он не будет

ходить.

Любка остановилась, словно налетела на невидимую стену.

— Как... парализован? — её рот глупо приоткрылся.

— Вот так. Физически, — чеканя слова, ответил Маркел, не сводя с нее

пронзительного взгляда. — Это значит, что он прикован к постели. Его

нужно будет переворачивать каждые три часа, чтобы не сгнил от пролежней. Нужно

будет выносить из-под него судно. Менять памперсы для взрослых. Кормить с

ложки, пока он не придет в себя. И терпеть его истерики. Вы же близкая

подруга? Вот и отлично. Законная супруга как раз сомневалась, потянет ли

она этот груз. Заберете его к себе?

В коридоре повисла абсолютная, звенящая тишина.

Я смотрела на Любку. На ту самую женщину, ради которой мой муж швырнул ключи от

дома на кухонный стол. На ту, с которой он чувствовал себя сильным и могучим

самцом.

На лице Любки отразилась целая гамма эмоций. Сначала — непонимание. Затем —

осознание страшной, грязной реальности, где нет места флирту на прилавке,

шуткам и купленной на сдачу водке. А затем её лицо изказил неподдельный,

животный ужас пополам с брезгливостью.

Судно. Памперсы. Пролежни.

Она попятилась. Медленно, неловко переступая на своих высоких каблуках.

— Я... я не могу, — пробормотала она, нервно запахивая дерматиновый плащ. Её голос

потерял всю мелодраматичность, став писклявым и жалким. — Я весь день на ногах

стою, в магазине. У меня грыжа. Я не подниму его. И вообще... Он сам ко мне лез!

Я ему ничего не обещала! У него жена есть, пусть она и возится!

Любка бросила на меня последний, затравленный взгляд. В нем не было победы

любовницы. В нем был страх, что я сейчас встану и силой заставлю её

отвечать за свои слова.

Но я продолжала сидеть молча, глядя на нее пустыми, спокойными глазами.

Не дождавшись от меня ни звука, Любка развернулась и, неловко спотыкаясь на

скользком кафеле, почти бегом бросилась прочь по коридору. Стук её каблуков

гулким эхом отдался от стен и затих где-то на лестнице. Дверь приемного покоя

хлопнула.

Маркел проводил её взглядом, хмыкнул и повернулся ко

мне.

— Ну вот, Антонина Львовна. Конкуренция самоликвидировалась. Естественный отбор

в действии.

— Я и не сомневалась, — ровно ответила я, поднимаясь с банкетки. Ноги гудели от

усталости, но спина оставалась прямой. — Когда я смогу к нему зайти?

— Завтра утром, — тон хирурга снова стал строго профессиональным. — Сейчас он в

реанимации, туда нельзя. Поезжайте домой. Поспите. Вам понадобятся все силы,

которые у вас есть. И еще немного сверху. Выписать я его смогу не раньше, чем

через месяц, когда стабилизируем состояние. За это время подготовьте дом. Ему

понадобится специальная кровать с подъемным механизмом. И противопролежневый

матрас.

— Я всё найду, доктор. Спасибо вам. За то, что спасли.

Маркел кивнул, сунул руки в карманы своего зеленого костюма и, тяжело ступая,

пошел по коридору в сторону ординаторской.

Я осталась одна. Постояла еще минуту у закрытых белых дверей, за которыми

боролся за жизнь человек, ставший мне абсолютно чужим, но которого я

обязалась спасти.

Затем я медленно пошла к выходу.

На улице дождь наконец-то прекратился. На востоке, за черной полосой леса,

занимался мутный, серый рассвет. Воздух был ледяным, пах мокрым асфальтом

и палой листвой. Я вдохнула его полной грудью, чувствуя, как холод проясняет

мысли.

Моя старая жизнь закончилась. Впереди была зима, инвалидная коляска, безденежье

и война характеров под крышей одного дома. Но, странное дело, я больше не

чувствовала той безысходности, что душила меня последние три года. Страх

больше не было. Угол моей жизни резко изменился, сбросив всё наносное,

фальшивое и грязное. Осталась только голая, суровая правда. И эту

правду мне теперь предстояло выковать своими руками.

Глава 9

Вдох. Выдох. Резкий, неестественный щелчок пластикового клапана, и снова — вдох.

Выдох.

Аппарат искусственной вентиляции легких работал с пугающей, неживой

размеренностью. В палате реанимации не было окон, только глухие

стены, выкрашенные моющейся краской цвета разбавленной зеленки, и яркий,

бестеневой свет, от которого ломило глазные яблоки. Здесь пахло озоном от

кварцевых ламп, спиртом и той специфической, сладковатой химией, которой

пропитаны места, где люди балансируют на грани.

Я стояла у изножья узкой функциональной кровати, боясь сделать лишний шаг. Мои

резиновые сапоги, на которых подсохла ночная глина, казались здесь чем-то

чужеродным, грязным, неуместным. Пожилая медсестра с усталым, одутловатым

лицом, пустившая меня сюда на пять минут «только одним глазком», бесшумно

поправляла капельницу и что-то записывала в карту.

На кровати лежал Валера.

Я не сразу узнала его. Широкие плечи, которыми он когда-то так гордился, сейчас

казались впалыми, беззащитными под тонкой казенной простыней. Лицо потеряло

свой привычный багровый, хмельной оттенок и стало пугающе восковым, почти

желтым. Правая половина лба и скула представляли собой один сплошной,

наливающийся чернотой кровоподтек с аккуратным рядом хирургических скоб.

В нос была вставлена прозрачная трубка, изо рта торчал гофрированный шланг

аппарата ИВЛ. Из-под простыни, в районе груди и живота, тянулись тонкие

дренажи, по которым в пластиковые емкости на полу медленно стекала сукровица.

Он был похож на разобранный механизм. Сломанную, никому не нужную машину,

которую чудом вытащили из-под пресса.

Я сделала шаг вперед и остановилась у изголовья. Мой взгляд упал на его правую

руку. Она лежала поверх одеяла — тяжелая, с въевшимся в мозоли мазутом,

который не смогли до конца оттереть санитарки. В тыльную сторону кисти,

прямо в набухшую синюю вену, был вставлен толстый катетер.

Я смотрела на эту руку, и стерильные стены реанимации вдруг дрогнули,

растворяясь в душном, раскаленном воздухе давно минувшего августа.

Двадцать пять лет назад. Нам обоим по восемнадцать. Мы только-только расписались

в тесном кабинете районного ЗАГСа. У нас не было ни колец с бриллиантами, ни

лимузинов. Только мой ситцевый сарафан, который мама перешила из своего

старого платья, и его светлая рубашка с коротким рукавом. Мы сбежали от

шумных родственников, вышли за околицу села и шли через бескрайнее поле

подсолнухов. Валера держал меня за руку. Его ладонь была горячей, сильной.

Он пах полынью, солнцем и свежим хлебом. Он смотрел на меня так, словно я была

единственной женщиной на всей планете.

«Я для тебя, Тонька, горы сверну, — говорил он тогда, смеясь и срывая для меня

желтый, тяжелый цветок. — Ты только верь в меня. Мы с тобой такую жизнь

построим, все завидовать будут!»

Он не врал тогда. Он действительно верил в свои горы. А я верила ему.

Я моргнула, отгоняя наваждение. Подсолнухи осыпались в прах, превратившись в

холодный кафель под ногами. Горы, которые он обещал свернуть, обернулись

дном грязного оврага, а жизнь, которой должны были завидовать, свелась к

бутылке дешевой водки, продавщице Любке и парализованным ногам под белой

простыней.

Где та точка невозврата? Когда именно мой сильный, любящий парень превратился в

желчного, опустившегося тирана, вымещающего на мне свои карьерные неудачи? Я

искала этот момент годами, пытаясь оправдать его перед самой собой. Убеждала

себя, что виноват Машков со своим увольнением. Виноваты деревенские

собутельники. Виновата безработица.

Но сейчас, глядя на его изувеченное тело, я поняла одну простую, жестокую вещь.

Никто не вливал ему водку в горло насильно. Никто не толкал его в постели

других женщин. Это был его собственный, ежедневный, методичный выбор.

Выбор быть слабым.

Мои пальцы сжали край холодной металлической спинки кровати. Внутри меня шла

тяжелая, безмолвная работа. Я выстраивала фундамент своей новой жизни,

укладывая камни логики поверх кровоточащих эмоций.

Вчера вечером я выбросила его вещи. Я была готова к свободе. А сегодня Маркел

сказал, что Валера останется калекой. Вся деревня — от моей строгой матери до

соседок на лавочке — ждала, что я сделаю. Брошу инвалида-изменника, оправдав

себя его скотским поведением? Или покорно подставляю шею под новое, куда

более тяжелое ярмо, став вечной сиделкой при мужчине, который вытер об меня

ноги?

«Если ты останешься с ним как жена, Антонина, — жестко сказала я сама себе,

глядя на ритмично вздымающуюся грудь Валерия, — ты перестанешь себя

уважать. Ты превратишься в ту самую бесхребетную терпилу, о которой

кричала Лиза. Ты предашь саму себя».

Но если я уйду... Если я позволю органам опеки или соцзащите увезти его в дом

инвалидов, где он сгниет за год в пропахшей мочой палате... Я никогда не

смогу спокойно смотреть в глаза сыну. Егорка не поймет, почему мама

выбросила папу, как сломанную игрушку. Я сама не смогу с этим жить. Моя

совесть сожрет меня изнутри, превратив в жестокую, озлобленную старуху.

Я выбрала третий путь. Узкий, как лезвие бритвы, холодный и лишенный иллюзий.

Я спасу его. Выхожу. Заставлю делать гимнастику, буду менять пеленки и мыть его

парализованное тело. Но я буду делать это не из любви. Я буду делать это из

чувства человеческого долга и ради детей. Моя спальня, мое сердце и моя

постель закрыты для него навсегда. Отныне мы не муж и жена. Мы — медсестра

и сложный пациент. И жить этот пациент будет по моим правилам.

Кардиомонитор над кроватью вдруг изменил ритм. Ровное пиканье участилось.

Медсестра тут же оказалась рядом, проверяя показатели на дисплее.

— Очухивается, — тихо сказала она, бросив на меня короткий взгляд. — Наркоз

отпускает. Больно ему сейчас будет, бедолаге. Вы бы шли в коридор, женщина.

Но я не двинулась с места.

Веки Валерия дрогнули. Сначала слабо, едва заметно, затем сильнее. Он издал

глухой, булькающий стон, который застрял в трубке ИВЛ. Его правая рука, та

самая, с катетером, судорожно дернулась, пальцы сжались в кулак, пытаясь

ухватить край простыни.

Он открыл глаза.

Взгляд был мутным, расфокусированным. Зрачки расширены от лошадиных доз

обезболивающего. Он несколько секунд смотрел в белый потолок, часто и

мелко дыша, словно загнанный зверь. Затем его голова медленно, с видимым

усилием, повернулась на подушке.

Он увидел меня.

Я стояла прямо, не пытаясь взять его за руку или погладить по голове. Мое лицо,

бледное от усталости, сохраняло строгое, неподвижное выражение.

В его глазах промелькнула паника. Он попытался сделать глубокий вдох, но трубки

дренажа и сломанные ребра отозвались такой болью, что из его глаз брызнули

слезы. Влага прочертила две светлые дорожки по грязным, в синяках щекам. Он

задергался, пытаясь что-то сказать, замычал, давясь пластиком во рту.

Его взгляд метнулся вниз, к своим ногам, скрытым под одеялом. Он еще не понимал,

что парализован, но его тело уже подавало сигналы абсолютной, страшной пустоты

ниже пояса. Ужас, первобытный и темный, затопил его зрачки. Он снова посмотрел

на меня, и в этом взгляде была мольба. Мольба о помощи, о защите, о том, чтобы я

сказала ему, что всё это — просто дурной сон.

Я шагнула ближе. Наклонилась над ним так, чтобы он видел только мое лицо.

— Не дергайся, Валера, — мой голос был ровным, тихим, но достаточно твердым,

чтобы пробиться сквозь туман его паники. — Ты в районной больнице. Твой

трактор в овраге. Операция закончилась.

Он замотал головой, его пальцы вцепились в простыню так, что побелели костяшки.

Он мычал, требуя вытащить трубку, требуя объяснений.

— Слушай меня внимательно, — я чеканила каждое слово, не отрывая взгляда от его

глаз. — Тебя собрал по частям хирург Маркел. Твоя спина сломана.

При слове «сломана» Валера замер. Его глаза расширились до предела. Слезы

покатились быстрее, впитываясь в белую наволочку.

— Я заберу тебя домой, как только разрешат врачи, — продолжила я, и в моем тоне

не было ни грамма утешения. Только констатация фактов. — Я не позволю тебе

сгнить в интернате, потому что ты отец Лизы и Егора. Но запомни одну вещь,

Валера. С этого дня всё будет по-другому. Ты больше не хозяин, который может

орать и требовать. Ты будешь делать то, что скажут врачи. Будешь терпеть. А

когда придешь в себя окончательно, мы поговорим о том, как будем жить дальше.

Если будем.

Он смотрел на меня, и я видела, как в его затуманенном мозге медленно оседают

мои слова. Он ждал, что я заплачу, что начну причитать «на кого ж ты нас

покинул», что буду гладить его по лицу, прощая всё на свете ради его

немощи. Он ждал привычную Антонину-терпилу. А увидел перед собой надзирателя.
— Поправляйся, Валера, — спокойно сказала я, отступая от кровати. — Тебе

понадобится много сил.
Я развернулась и пошла к выходу, не оглядываясь. Я не видела, как он закрыл

глаза, не видела, как сжались его губы под кислородной трубкой. Я просто

толкнула тяжелую белую дверь и вышла в коридор, где меня ждало хмурое,

холодное утро нового дня. Мои плечи были расправлены, а в груди, вместо

привычной, сосущей боли, билось ровное, сильное сердце женщины, которая

наконец-то взяла управление своей жизнью в собственные руки.

Глава 10(Валерий)

(от лица Валерия)

Сначала вернулась боль. Не острая, не режущая, а глухая, тяжелая и горячая,

словно кто-то загнал мне между лопаток раскаленный железный лом и медленно,

с садистским наслаждением, проворачивал его при каждом моем вдохе.

Я открыл глаза. Белый, испещренный мелкими трещинами потолок плыл и двоился. В

горле пересохло так, будто я глотал битое стекло пополам с песком. Трубки во

рту уже не было — видимо, меня отключили от того гудящего аппарата, который я

смутно помнил сквозь наркозный бред. Дышал я сам, но каждый глоток воздуха

давался с таким трудом, словно на груди лежала бетонная плита.

В палате стоял густой, тошнотворный запах медикаментов, хлорки и застоявшегося

пота. Справа мерно пикал кардиомонитор.

Память возвращалась кусками, рваными, болезненными вспышками. Дождь. Грязная

кабина «Беларуса». Ослепительный свет фар машковско-го внедорожника. Моя

собственная пьяная, дурная ярость, заставившая меня выкрутить руль

навстречу этой машине. А потом — скрежет рвущегося металла, чувство

падения и тьма.

Я попытался сглотнуть вязкую слюну и пошевелиться.

Мозг отдал привычную команду: согнуть правое колено, чтобы сбросить давящую

тяжесть казенного одеяла.

Ничего не произошло.

Я нахмурился, списывая это на остатки анестезии. Сконцентрировался сильнее.

Послал импульс в левую ногу, пытаюсь хотя бы пошевелить пальцами.

Тишина.

Это было не онемение, когда ногу «отсидишь» и она колет тысячами иголок. Это

была абсолютная, звенящая пустота. Нижней половины моего тела просто не

существовало. Я чувствовал грудь, ребра, стянутые тугой повязкой,

чувствовал руки, исколотые иглами капельниц, но ниже пупка начиналась

мертвая зона. Черная дыра.

Животный, первобытный ужас ударил в голову, мгновенно вытеснив остатки

медикаментозного тумана. Дыхание перехватило. Я попытался приподняться

на локтях, чтобы посмотреть на свои ноги, чтобы убедиться, что они вообще там

есть.

Огненный лом в спине полыхнул такой болью, что из горла вырвался жалкий,

булькающий сип. Я рухнул обратно на подушку, тяжело дыша, покрываясь

липким холодным потом.

— Лежи, дурак, куда рвешься! — раздался сбоку грубый, прокуренный женский голос.

К кровати подошла женщина в синем медицинском костюме. Плотная, с грубыми

чертами лица и короткими, выкрашенными хной волосами. Безо всяких

церемоний она откинула край моего одеяла.

Я скосил глаза, ожидая увидеть культю. Но ноги были на месте. Бледные, обросшие

темным волосом, какие-то чужие, но целые.

— Что... — прохрипел я, с трудом ворочая распухшим языком. — Что с ногами?

Санитарка (или кто она там была) даже не посмотрела на меня. Она деловито

поправила прозрачную трубку мочевого катетера, уходя-

щую куда-то под

простыню, и проверила наполненность пластикового мешка, висящего на

бортике кровати.

От осознания того, что в меня вставлена трубка, что эта посторонняя, грубая баба

буднично копается в моем паху, а я этого даже не чувствую, меня бросило в жар.

Мое мужское достоинство, моя альфа-сущность, которой я так кичился перед

Любкой и деревенскими мужиками, в одну секунду оказались растоптаны,

стерты в порошок. Я лежал перед ней голый, беспомощный, как кусок мяса на

разделочном столе.

— Перелом позвоночника у тебя, тракторист, — сухо ответила женщина, накидывая

одеяло обратно. — Скажи спасибо Маркелу Игнатьевичу,

что вообще дышишь. А

ноги... Ноги пока как бревна. Отек спадет — видно будет.
Но ты губу не

раскатывай. С такими травмами в пляс не пускаются.
Она развернулась и вышла из палаты, гремя какими-то
железными судками.

Перелом позвоночника.

Слова эхом заметались в тесной черепной коробке. Я парализован. Инвалид. Калека.

Я вспомнил безногого деда Митяя, который всё мое детство сидел у сельпо на

деревянной тележке с подшипниками и просил милостыню. Неужели это теперь

моя судьба?

«Да ко мне завтра Машков сам прибежит...» — вспомнил я свои собственные слова,

брошенные Тоне перед уходом.

Машков не прибежит. Машкову не нужен полутруп. Никому не нужен парализованный,

ссуший через трубочку кусок мяса.

Я зажмурился до цветных пятен, стараясь сдержать подступающие слезы бессильной

ярости. Этого не может быть. Это просто дурной сон. Я сейчас проснусь дома, на

старом диване, с больной с похмелья головой. Тоня будет греметь посудой на

кухне, Егорка собирать портфель...

Я резко открыл глаза, поворачивая голову вправо. Нет, это не сон.

Память услужливо подкинула картинку: сквозь дурман наркоза я вижу над собой лицо

Антонины. Сухое, жесткое, без единой слезинки. И её пальцы, разжимающиеся над

металлом лотка. И эта заколка-бабочка....

Она знает. Она всё знает. Не просто догадывается, а имеет на руках вещественное

доказательство моей ничтожности. Эта бабочка жгла мне глаза хуже сварки. Я

вспомнил, как покупал её Любке. С какой сальной ухмылочкой отсчитывал

мелочь, как Любка кокетливо цепляла её на свои пережженные кудри. Каким же

жалким, дешевым идиотом я был! Я променял уважение жены, спокойствие детей, свой

собственный дом на кусок розового китайского пластика. Дверь палаты тихо скрипнула.

Я замер, напрягшись всем своим покалеченным существом. В глубине души, там, где

под слоями грязной гордости еще прятался испуганный человек, я отчаянно хотел,

чтобы это была она. Тоня.

Только она могла защитить меня сейчас от этого ужаса. Только её спокойный,

уверенный голос мог навести порядок в том хаосе, в который превратилась

моя жизнь. Я ждал, что она войдет, увидит, как мне страшно, и её ледяная

броня треснет. Она подойдет, сядет на край кровати, возьмет меня за руку.

Она же женщина. Она мать. Она должна жалеть слабого. Я готов был даже

заплакать, готов был просить прощения за эту проклятую заколку, за

Любку, за пьянки — за всё, лишь бы она не оставляла меня одного в этом аду.

Антонина вошла в палату.

На ней был простой темный свитер под горло, волосы туго стянуты на затылке.

Никакой косметики. Никаких следов слез или истерики. В руках она держала

объемный пластиковый пакет из аптеки.

Она подошла к кровати. Остановилась в полуметре, не пытаясь прикоснуться ко мне.

Её взгляд, спокойный, серый и холодный, как лезвие хирургического скальпеля,

скользнул по моему изувеченному лицу, по трубкам, уходящим пододеяло, и

остановился на моих глазах.

В этом взгляде не было жалости. В нем вообще не было тех эмоций, которые

предназначены мужу. Так смотрят на сложную работу. На задачу, которую

предстоит решить.

— Здравствуй, Валера, — её голос прозвучал ровно, без дрожи. Она поставила пакет

на стул у кровати. — Я привезла пеленки, влажные салфетки, противопролежневую

мазь и специальное питание. Врач сказал, что обычную еду тебе пока нельзя.

Я сглотнул. В горле стоял ком, колючий и жесткий.

— Тонь... — мой голос был едва слышен, жалок. Я попытался вложить в него всю свою

боль, весь свой страх. — Тонь, я не чувствую ног. Совсем. Они говорят... говорят,

я не смогу ходить.

Я ждал, что она ахнет. Что прижмет руки к груди.

Она даже не моргнула.

— Я знаю, — спокойно ответила она, методично выкладывая из пакета упаковки с

пеленками на нижнюю полку тумбочки.

Маркел мне всё объяснил еще в ту ночь. У тебя сломан позвоночник.

— Тоня, мне страшно... — я не выдержал. Гордость была сломана вместе с костями.

Слеза выкатилась из глаза и побежала по виску, щекоча кожу. — Я же теперь...

как обрубок. Я же инвалид. Что я теперь буду делать?

Она выпрямилась. Посмотрела на меня сверху вниз. И в этот момент я понял, что

Антонины, которую я знал двадцать пять лет, больше нет. Я сам её убил. Передо

мной стояла чужая, железная женщина, в которой не осталось ни капли бывлой

мягкости.

— Что ты будешь делать? — её голос стал чуть жестче. — Ты будешь лежать. Будешь

терпеть боль. Будешь делать всё, что скажут врачи, чтобы через несколько

месяцев попытаться хотя бы сесть в инвалидную коляску. А я буду за тобой

убирать.

Она сказала «убирать», а не «ухаживать». И эта крошечная лексическая разница

ударила меня сильнее хлыста. Ухаживают за любимыми. Убирают — грязь.

— Ты... ты меня не бросишь? — этот вопрос вырвался сам собой, жалкий, трусливый. Я

ненавидел себя за него, но страх остаться одному в казенных стенах был сильнее.

— Я заберу тебя домой, Валера, — её тон оставался безупречно ровным. — Завтра в

зал привезут медицинскую кровать с подъемным механизмом. Лиза и Егор уже

переставили мебель.

Я шумно, с облегчением выдохнул. Не бросила. Значит, любит. Значит, простила.

Бабы, они такие, поворчат, пообижаются, а когда беда — всё прощают. Я

расслабился, почувствовав, как отпускает ледяной узел в животе.

— Спасибо, Тонь, — я попытался изобразить виноватую, слабую улыбку, но вышло,

наверное, похоже на гримасу. — Я знал, что ты... что мы же семья. Двадцать пять

лет. Я всё понял, Тоня. Клянусь, я всё понял. Эта Любка... это просто по пьяни,

дурь. Я же только тебя...

— Замолчи, — её голос, не повышаясь ни на децибел, вдруг лязгнул металлом так,

что я поперхнулся собственными словами.

Она сделала шаг ближе. Её глаза потемнели, превратившись в два холодных грозových

облака.

— Никогда, слышишь, никогда не смей произносить при мне имя этой женщины. И не

смей говорить мне о любви. То, что мы семья, закончилось в тот момент, когда

ты положил в свой карман ту дешевую розовую заколку. Я забираю тебя домой не ради тебя. А ради своих детей. Чтобы

мой сын не вырос с мыслью, что можно выбросить отца на помойку, как грязную

ветошь. Я выполняю свой долг перед Богом и перед своей совестью. Но ты мне

больше не муж.

Слова падали, как тяжелые камни, пробивая остатки моей хрупкой надежды.

— Как это... не муж? — пробормотал я, чувствуя, как паника возвращается. — Но мы

же венчанные... Мы расписаны... Ты же сама говоришь, долг...

В этот момент дверь палаты скрипнула, и внутрь вошла та

самая грубая санитарка,

неся в руках стопку чистых простыней. Увидев Антонину, она сменила гнев на

милость, натянув на лицо дежурную сочувствующую улыбку.

— Ой, здравствуйте. Жена, да? Приехали навестить нашего героя-тракториста? —

санитарка вздохнула, покачав головой. — Ох, и намучаетесь вы с ним теперь,

милая. Спина-то вдребезги. Терпение вам ангельское понадобится.

Я смотрел на Тоню, ожидая, что она кивнет. Что примет эту роль страдальцы-жены,

которую ей навязывала деревенская мораль.

Но Антонина медленно повернула голову к санитарке. Её спина была прямой, как

натянутая струна. Ни тени смущения, ни грамма заискивания перед

медперсоналом.

— Здравствуйте, — ответила Тоня кристально чистым, спокойным голосом. —

Ошибаетесь. Я ему не жена.

Санитарка замерла с простынями в руках, растерянно моргая.

— Как не жена? А кто же? В паспорте-то штамп стоит...

— Штамп стоит, — кивнула Антонина. — Но я здесь в другом качестве. Я его

сиделка.

Слово повисло в воздухе палаты. Сиделка. Короткое, безжалостное, как выстрел в

упор.

Санитарка крикнула, не зная, что ответить, и быстро, судливо принялась

перестилать свободную соседнюю койку, стараясь не смотреть в нашу

сторону.

А я... Я перестал дышать.

В это мгновение я понял, что перелом позвоночника — это не самое страшное, что

со мной произошло. Физическая боль была ничем по сравнению с той бездной

унижения и одиночества, которая разверзлась подо мной после этих трех

слов.

Сиделка. Обслуживающий персонал. Наемный работник по уходу за куском

парализованного мяса. Вот кем она себя назначила. Она лишила меня не

просто статуса мужа. Она лишила меня права на сочувствие, права на ссоры, права

на примирение. С женой можно скандалить, жену можно умолять о прощении, перед

женой можно ползать на коленях (если бы они у меня работали).

А перед сиделкой? Сиделка просто делает свою работу. Меняет судно, протирает

пролежни, кормит с ложки и уходит в свою комнату, закрывая дверь. Ей плевать

на твою душу. Ей плевать на твои слезы.

Я смотрел на женщину, с которой прожил четверть века, и не узнавал её. Я видел

перед собой каменную статую правосудия, в руках которой вместо меча была пачка

влажных салфеток.

Антонина посмотрела на наручные часы.

— Мне пора в школу. Нужно провести три урока. Вечером зайдет доктор Маркел, я

просила его проверить твою схему обезболивания. Слушайся медсестер.

Она повернулась и пошла к двери.

— Тоня! — крикнул я ей вслед. Это был уже не голос, а звериный, отчаянный хрип.

— Тоня, пожалуйста!

Она остановилась на мгновение у самых дверей. Не обернулась. Замерла на секунду, словно

взвешивая, стоит ли вообще отвечать. И вышла.

Дверь за ней закрылась.

Я остался один. В тишине палаты, нарушаемой только

ритмичным пиканьем

кардиомонитора.

Тюрьма из плоти захлопнула свои двери. И ключи от нее я сам, собственными

руками, отдал женщине, которая больше никогда меня не полюбит. Впервые за

долгие, пьяные годы я заплакал по-настоящему — беззвучно, страшно, кусая

пересохшие губы до крови, захлебываясь собственным бессилием и жгучим,

невыносимым стыдом.

Глава 11

Ноябрь начался с жестких, бесснежных заморозков. Земля на пустыре за школой

промерзла до состояния бетона, а пожухлая трава по утрам покрывалась

колючим седым инеем, который хрустел под сапогами, как битое стекло.

До выписки Валерия оставались сутки.

Я сидела в кабинете директора школы, глядя на тяжелую малахитовую подставку для

ручек на полированном столе. Директор, Галина Ивановна, женщина тучная, с

высокой башней залакированных волос и вечной ниткой крупного жемчуга на

шее, вздыхала уже в третий раз. В кабинете пахло горячей пылью от батарей и

сладкими духами.

— Антонина Львовна, вы поймите меня правильно, — Га-

лина Ивановна сцепила пухлые

пальцы в замок. — Я к вам со всей душой. Вы наш лучший русовед, у вас высшая

категория. Но ситуация... скажем прямо, деликатная. Деревня гудит. Все знают, в

каком состоянии ваш муж попал в аварию. И все знают, что вы забираете его домой.

Лежачего.

— Это как-то влияет на мою способность объяснять детям правила пунктуации? — мой

голос прозвучал так ровно, что директор слегка запнулась.

— Нет, ну что вы. Но имидж педагога... Дети всё слышат дома, обсуждают. Плюс, уход

за тяжелым инвалидом требует колоссального времени. Вы будете приходить на уроки

измотанной. Может, возьмете отпуск за свой счет? До конца четверти хотя бы.

Устаканится быт, оформите ему инвалидность, найдете

сиделку...

Я посмотрела ей прямо в глаза. Я знала, чего она боится.
Боится жалоб от

родителей, боится, что я начну просить отгулы, боится,
что атмосфера

беды, которая теперь плотно облепила мою фамилию, испортит благостную

картину её образцовой сельской школы.

— Сиделку я не найду, Галина И

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.